

Костас
ТАХЦИС

Третий
брак



Греческая библиотека

Костас Тахцис

Третий брак

«ВЕБКНИГА»

Тахцис К.

Третий брак / К. Тахцис — «ВЕБКНИГА», — (Греческая библиотека)

ISBN 978-5-94-282864-6

Самый известный роман греческого писателя Костаса Тахциса, получивший скандальную славу и вошедший в литературный канон еще при жизни автора, впервые выходит отдельным изданием на русском языке вместе с небольшим сборником автобиографических рассказов.

ISBN 978-5-94-282864-6

© Тахцис К.
© ВЕБКНИГА

Содержание

Димитрис Яламас	6
Алекос Фасианос.	8
Анна Ковалева.	9
Третий брак	15
Часть первая	15
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Костас Тахцис
Третий брак. Собрание произведений
ОГИ

Димитрис Яламас От редактора

Деятели культуры, впервые заявившие о себе в искусстве и литературе Греции, начиная со Второй мировой войны и вплоть до 1960-х годов, разрабатывали новые художественные формы, которые оказали решающее воздействие на развитие греческой культуры до конца XX века. Поэты Мильтос Сахтурис, Такис Синопулос и Манолис Анагностакис, прозаики Костас Тахцис, Йоргос Иоанну и Менис Кумандареас, композиторы Манос Хадзидакис и Микис Теодоракис, художники Яннис Царухис, Алексис Акритакис, Димитрис Митарас и – позднее – Алексос Фасианос, театральные режиссеры Каролос Кун и Алексис Соломос, кинорежиссеры Михалис Какояннис и Никос Кундурос определили контекст современной греческой культуры с конца Второй мировой войны до 80-х годов XX века и создали произведения искусства, которые в наше время признаны классическими.

Костас Тахцис был одной из самых ярких фигур этого поколения. Он ворвался в греческую литературу в 1951 году, в возрасте двадцати четырех лет, со сборником юношеских поэтических работ и продолжал публиковать стихи до 1962 года, когда в свет вышел его первый роман «Третий брак» – издание было осуществлено за счет самого автора. После выхода романа он, оставив поэзию, дальше работает только как прозаик. В «Третьем браке» – предельно аккуратно и выверенно – Тахцис сделал огромный шаг, совершив настоящий прорыв в развитии греческой литературы.

Эта эпоха в целом стала временем открытия и переоценки подлинных достижений народной культуры. Манос Хадзидакис, первым в серьезных музыкальных кругах, поместил в общекультурный контекст такое важное явление как ребетика¹, выведя ее из подпольного мира курильщиков гашиша и преступников, где она существовала до него. Яннис Царухис рассуждал о театре теней и его главном герое Карагиозисе. Йоргос Сеферис писал о Теофилосе, одном из главных представителей греческой наивной живописи конца XIX – начала XX вв. В этой же атмосфере появились «Третий брак» и другие прозаические произведения Тахциса, любой герой которых мог бы жить в том же районе Афин или в той же провинции, что и читатель. Эти произведения стали выражением духа новой эпохи – эпохи, когда восприятие подлинности строилось не на идеализированных примерах героического прошлого, а на событиях из жизни простых людей и той части греческой истории, которую пережили они и их близкие.

«Третий брак», несомненно, самое известное, самое читаемое произведение послевоенной греческой прозы, и именно этот роман больше всех прочих переводили на иностранные языки. Кроме того, по нему трижды были поставлены спектакли – в 2009, 2014 и 2016 годах, – снят сериал, который шел на греческом телевидении с 1995 по 1996 год. Однако самым успешным стал радиоспектакль, эпизоды которого ежедневно выпускались в эфир в 1979 году.

Тахцис был и остается одним из самых своеобразных писателей в истории современной греческой культуры. Его проза, его поэзия, его интервью, его компании и его общественная жизнь, его путешествия, предпринятые им в поисках средств к существованию и полные приключений, его служение великим греческим и иностранным писателям, его остроумная и острая речь, его выбор в личной жизни, его дни и ночи, его опасный образ жизни и трагическая смерть образуют единое и неразделимое произведение искусства, которое не имеет предшественников и – что очевидно – вряд ли когда-либо будет повторено.

¹ Греческая городская народная песня начала века, в которой выразились восприятие и опыт жизни низших слоев; в 30-е годы XX века стала чрезвычайно популярна в греческом обществе. (Здесь и далее – примеч. переводчика.)

В этом томе мы решили объединить самый известный роман Костаса Тахциса «Третий брак» и небольшой сборник автобиографических рассказов «Бабушки мои Афины». Эти тексты позволят сформировать у читателя более полное впечатление о том феномене греческой литературы, каким был Костас Тахцис, и до известной степени объяснить человека, который не только написал значимые для современной культуры всего мира литературные произведения, но жил и погиб, создавая и продолжая непрерывный, честный, единственно возможный и естественный для него личный перформанс, без которого мы не смогли бы до конца понять и оценить его литературное наследие.

Алекос Фасианос. **Тахцис-воитель**

Тахцис-воитель в диком городе со страстью и последней прямоотой борется за то, чтобы исправить плохо написанное. Он открыто судит о том, что не так устроено в обществе, в котором так трудно дается человеку правдивость и так легко – лицемерие.

Первопроходец в переводах комедий Аристофана, он становится объектом яростной критики филологов-догматиков, но одерживает над ними верх, позволяя людям соприкоснуться с «Лисистратой» или «Лягушками», ведь его язык – тот же, на каком и мы говорим каждый день, и старые идеи он преобразовывает в новые, современные, смыслы.

Так и в скоплении подлинных событий жизни отражается его философское настроение, он всегда и на все смотрит по-своему, фиксируя происходящее и гневно бичуя пороки, пусть даже и ценой опасности его собственной жизни. Он не боится правды. Он жаждет ослепительного света – света совершенства.

Анна Ковалева.
**Роман с Еврипидом: Жизнь Костаса
Тахциса, рассказанная им самим**

Костас Тахцис – одна из самых ярких звезд современной греческой – и всемирной – литературы. Описывая его, литературные журналы и критики всех стран, где когда-либо переводили книги Тахциса, особенно его главный роман «Третий брак», характеризуют его литературное дарование исключительно в превосходных степенях, где гениальность, новаторство, шедевр и «самый важный роман, который нам дала Греция» толпятся среди прочих, не менее лестных эпитетов. Английский литературовед Мартин Сеймур-Смит в своей статье в журнале *The Spectator* замечает, что Тахцис «являет такую силу таланта, которая ставит его в первый ряд современных европейских писателей», ему вторят критики и в Старом, и в Новом Свете.

Костас Тахцис родился в Салониках 8 октября 1927 года. После развода его мать оставляет себе младшую дочь, а четырехлетнего старшего сына отдает своей матери, которая и воспитывает его. В семь лет он уезжает с бабушкой из Салоник в Афины, где заканчивает школу и поступает на юридический факультет Афинского университета. Там же, в Афинах, когда Тахцис был еще юным школьником, знакомая, к которой его бабушка пришла погадать, решила заглянуть в будущее не только бабушки, но и внука. «Этот мальчик будет открывать большие двери и увидит весь мир», – сказала она и оказалась права.

С 1947 года Костас Тахцис не только становится завсегдатаем кофейен «Бразилиан» и «Лумидис», где собиралась афинская интеллигенция, но и тесно общается с такими великими писателями, как будущий нобелевский лауреат Одиссеас Элитис, Нанос Валаоритис, Андреас Эмбирикос, художником Яннисом Царухисом и многими другими. Позднее он познакомится с еще одним греческим нобелиатом – Йоргосом Сеферисом, дружба с которым продлится до смерти последнего. Все эти годы он пишет стихи и с 1951 по 1956 годы издает пять поэтических сборников, которые получают достаточно приветливые отзывы критиков, хотя обложка одного из них и вызывает всеобщее потрясение – художник Яннис Царухис оформил ее как традиционное извещение о смерти.

В 1954–1964 годах Тахцис путешествует, в том числе по Европе, Англии, Восточной Африке, Австралии и США и работает – помощником режиссера на съемках «Мальчика на дельфине», менеджером знаменитого пианиста, матросом на датском грузовом корабле, грузчиком в магазине и станционным смотрителем на австралийских железных дорогах, в пресс-службе Государственного банка Австралии и американской компании в Греции, преподает английский, проводит экскурсии и навсегда порывает с поэзией. Быть просто неплохим поэтом в то время, когда Греция зачитывается стихами Кавафиса, все новые и новые работы издают Элитис, Сеферис и Эмбирикос, было довольно трудно, особенно для такого отчаянно честного, безжалостного к себе и тонкого знатока литературы, каким был Тахцис. Кроме того, даже поверхностное чтение его стихов показывает в них будущего прозаика – строение и композиция, сюжетность, вещность его поэтического мира, которая потом безупречно проявится и в создании его миров в прозе – каждая сцена всегда видна отчетливо, как если бы читатель сам находился в том дворе, где две героини ведут свою бесконечную беседу, где разносится запах кофе и вишневое варенье застывает на блюде, а полуденный зной дрожит зыбким маревом на афинских улицах. Его переход к прозаическому нарративу был вопросом времени.

В очередной раз вернувшись в Грецию и в очередной раз быстро ее покинув, Тахцис отправляется в путешествие по Европе на мопеде «Веспа», чтобы написать роман, над идеей создания которого он думал уже несколько лет и мини-замысел которого появляется в одном из последних его стихотворений. Работу над романом «Третий брак» он закончит в Австралии,

после чего отправит текст издателям в Грецию, где его отклонят как неподобающий. В ноябре 1962 года Тахцис издаст роман за свой счет. Его практически никто не прочтет – греческая критика выхода романа не заметит, покупатели тоже. Лишь через десять лет, после публикации на английском языке, роман получит всемирную известность: его переведут не только на английский, но и на французский, итальянский, немецкий, голландский, испанский, венгерский, польский, сербский, румынский и другие языки. В 1972 году Тахцис выпустит сборник рассказов «Сдача». В 1979 – сборник «Бабушки мои Афины». Также ему принадлежат переводы комедий Аристофана и современных авторов на новогреческий язык, многочисленные статьи и эссе. В последние десять лет своей жизни Тахцис почти ничего не писал.

27 августа 1988 года сестра нашла Костаса Тахциса мертвым в его доме в Афинах. Судмедэксперты установили, что Тахцис был задушен примерно за двое суток до этого. Точная дата смерти неизвестна. Убийца не найден. Мотивы убийства не обнаружены. После смерти Тахциса изданы неоконченный роман-биография «Страшный суд» и несколько сборников рассказов, эссе, интервью и писем.

* * *

В современном мире не принято ранжировать национальные литературы по степени их значимости – ценна любая литература, у которой есть свой язык и свои читатели. Тем не менее, неявно и подсознательно такие иерархии все равно выстраиваются в голове каждого читателя. И самыми авторитетными и уважаемыми оказываются те литературы, в которых возникают произведения, удивительным образом сочетающие универсальность и оригинальность, в которых история конкретного человека оказывается воспринимаемой читателями разных стран и культур.

Что не менее важно, хотя и часто упускается из виду – форма высказывания. Диктатура большой литературной формы, существовавшая в европейской прозе в течение двух веков, рухнула, и это привело к закономерному откату: многие романы и эпопеи XX века, когда-то представлявшиеся важными, монументальными и почти вечными, сегодняшнему читателю кажутся архаичными и совершенно неактуальными – разве что в качестве экспонатов воображаемой литературной кунсткамеры.

Чудо или, вернее говоря, феномен Костаса Тахциса, в общем-то, как раз и состоит в том, что с ним ничего подобного не произошло. На уровне аннотации его первый и главный роман «Третий брак» представляется чем-то глубоко укорененным в век расцвета Большого Европейского Романа – события «Третьего брака» легко можно изложить в рамках шаблона «жизнь нескольких поколений одной семьи на фоне великих исторических потрясений». В романе Тахциса и в самом деле есть типичная афинская семья из того слоя, который сегодня назвали бы средним классом, есть действие, растянувшееся на полвека – от 20-х до начала 60-х годов, и – разумеется – есть и исторические потрясения, войны и революции, заговоры и катастрофы (а в какой европейской стране в первой половине XX века их не было?). Но вот как раз к шаблону, умещающему в себя что угодно – от «Будденброков» до забытой всеми эпопеи о потомственных сталеварах – «Третий брак» имеет очень косвенное отношение.

Собственно, неординарность этого романа можно оценить, посмотрев, с какими произведениями его сравнивали издатели, когда выпускали переводы «Третьего брака» в разных странах: с «Унесенными ветром» Маргарет Митчелл, «Войной и миром» и «Анной Карениной» Льва Толстого, «Будденброками» Томаса Манна, «Сагой о Форсайтах» Джона Голсуорси, «Леопардом» Джузеппе Томази ди Лампедуза. А еще – с Трифоновым, Сэлинджером, Джойсом и Фаулзом... Разброс примеров поражает, ведь почти невозможно всерьез представить произведение, объединяющее в себе Митчелл, Джойса и Трифонова – и это можно считать еще одним подтверждением уникальности романа Тахциса. Он не поддается попыткам уложить его

ни в один шаблон, у него просто нет подходящих аналогов. Возможно, именно поэтому он продолжает оставаться актуальным и в XXI веке: для глубоко патерналистской по духу литературы середины прошлого века с ее позитивистской верой в силу нарратива этот роман был слишком неожиданным. Сейчас он таким уже не кажется, он воспринимается как совершенно современный, написанный здесь и сейчас человеком, увидевшим конец эпохи Больших Романов, но, тем не менее, дерзнувшим написать Большой Роман своего времени, роман, который радикально отличался от всего, что было создано тогда греческой литературой.

Если бы Еврипид писал сегодня, он писал бы точно, как Тахцис, – замечает автор предисловия к английскому изданию романа «Третий брак», и он имеет в виду не только известную рецепцию античной традиции и очевидный параллелизм в судьбе героинь. Роман Тахциса – прозаическая версия театра *manqué*, драматургии Чехова, Ибсена и Стриндберга: здесь нет катарсиса и яркой драматичной развязки ни того типа, что мы можем встретить у Шекспира, ни того, который характерен для Эсхила и Софокла. Ксеркс не рыдает вместе с хором над разбитым персидским войском, Эдип не проваливается сквозь землю, Антигона не отправляется в Фивы навстречу своему долгу и своей смерти, Гамлет не убивает Лаэрта, Ромео и Джульетта не кончают с собой, а каменный гость не уводит дон Жуана. В романе «Третий брак» люди просто пьют кофе и разговаривают, но при этом мы ощущаем то, что Станиславский называл применительно к Чехову внутренним течением: ток обычных поступков, событий и эмоций создает драматургическое напряжение и приводит к катарсису. Описывая вроде бы ровное течение обычной женской болтовни двух главных героинь, Тахцис создает абсолютное, напряженное драматургическое действие, действие без эффектных сценических приемов, где сами разговоры создают драму ежедневности, разыгрываемую на фоне великих исторических потрясений, которые становятся не более чем скромными декорациями обычной жизни.

* * *

Можно отметить и еще одну особенность «Третьего брака» – это роман, отказавшийся от традиционного для греческой (и не только греческой) литературы представления о распределении ролей по гендерному признаку. Сама специфика греческого общества – с патриархальными традициями, с мощным влиянием греческого православия, с наследием «героического» периода войн и революций, продолжавшегося более ста лет, – естественным образом превратила греческую литературу в «литературу сильных мужчин», рефлексирующую о поступках героев и их последствиях. Тахцис намеренно вырвался из этой традиции, что было совсем непросто и потребовало обращения к традиции еще более древней – античной. В «Третьем браке» XX век становится у Тахциса временем, когда снова обретают силу архетипы гомеровского эпоса, причем именно той его части, которая в трагедиях Еврипида превратилась из описания подвигов героев в рассказы о женщинах, об их чувствах и их деяниях. Естественный для первого века новогреческой независимости исступленный культ древности и античного наследия, великий миф Древней Греции, инкорпорированный в национальную идеологию Греции современной, играют в жизни героев Тахциса роковую роль: имена из античной литературы, которыми родители награждали своих детей, не задумываясь о том, какой контекст с ними связан, обретают внезапную власть. Гекуба, Поликсена, Андромаха, Елена Прекрасная, живущие в XX веке, обречены снова и снова переживать те же трагедии, что переживали героини Гомера и Еврипида. Только их мужья и дети уже не героические ахейцы и троянцы, которые у Гомера сражались по колено в крови врагов, не ведая усталости. Увы, теперь это обычные – и слабые, каждый по-своему, – мужчины, совершающие далеко не героические поступки из далеко не самых благородных побуждений. Неизменными остались только женщины и их трагедии. Виновниками трагедий в романе оказываются почти исключительно мужчины, они выполняют второстепенную роль регулярного стихийного бедствия, с которым героини Тахциса справля-

ются снова и снова. При этом, что характерно, катастрофу античных героинь Тахцис отдает только той героине, что воплощает его бабушку – Гекуба снова потеряет все. Вся линия второй героини получила христианские имена и христианскую традицию, что не отменяет не менее трагического измерения их жизней.

При этом одной из важных особенностей версии Тахциса становится большая доля юмора, с которой героини переживают и обсуждают все выпадающее им на долю. И здесь Тахцис не только вырвался из пафоса парадигмы сильных мужчин, но и вернул в современную греческую литературу то, что было в ней хорошо забыто: гиларотрагедию, трагедию-травести. Еврипид – один из базовых его источников, но не менее важным станет для него поэт IV–III веков до н. э., который останется в истории известным именно как автор гиларотрагедий – травестийных, смеховых трагедий, для которых характерна фарсовая разработка мифологических сюжетов, как правило, обработанных в предыдущей драматургической практике. Такие трагедии писал поэт из Тарента Ринтон, от которого до наших дней дошли лишь названия и небольшие фрагменты, достаточные, впрочем, для того, чтобы предположить, что в своих травестийных текстах он пародировал сюжеты Еврипида. Закончив «Третий брак», Тахцис скажет: «Я хотел написать современную греческую (гиларо-)трагедию».

* * *

О Костасе Тахцисе, в отличие от многих других авторов, трудно писать: кажется, он не оставил пространства для исследований, не только написав бессмертные тексты, но и предельно точно проанализировав их, сорвав маски (а все его тексты – это постоянная игра с масками), раскрыв механизмы и пружины, направляющие и определяющие действие, и объяснив причины, источники, идеи, заложенные в его тексты и метатексты, и то, как все это, вместе собранное, работает. Каждый следующий его текст после «Третьего брака» и «Сдачи» – эссе и интервью, другие рассказы – именно об этом. Как о том же в той или иной степени говорит и неоконченный автобиографический роман «Страшный суд», некоторые части которого исчезли после убийства Тахциса (как предполагали многие, в том числе французская газета Liberation, именно эта последняя его работа и стала причиной убийства). Впрочем, авторская интерпретация также всего лишь одно из возможных прочтений романа «Третий брак». Очевидно, что таких прочтений можно отыскать еще немало. В конце концов, открытость разным интерпретациям – это тоже один из признаков хорошей литературы.

Если вернуться к биографии Тахциса, то даже несколько абзацев дают картину исключительно насыщенной событиями и неординарной жизни человека, который никогда в своей жизни не вписывался ни в какие рамки – семьи и родственников, школы и школьных правил, подростковых отношений и связей, которые возникают между взрослыми людьми, истеблишмента и андеграунда. Он проходил по каждому из этих миров, всегда по краю, всегда будучи собой, всегда провоцируя и вызывая шум, волнение и напряжение, и всегда оставаясь чужим, нигде и никогда не приобретая тех качеств, которые в конечном итоге формируют нашу принадлежность к тем или иным социальным стратам и вовлеченность в их бытование.

Как не раз замечает и сам автор, ключевая информация для понимания его творчества и формирования в греческой литературе такого феномена, каким был Тахцис, содержится в самых первых строках жизни и биографии: его взаимоотношения с матерью и бабушкой оказали фатальное, решающее влияние на формирование личности Тахциса и стали – вместе с историей семьи и отношениями внутри семьи – по существу, одной из главных тем его произведений.

История жизни Тахциса и его текста, если воспринимать все, что было им написано, как единое полотно, – это еще и история матери, превращающей своего сына в объект, на котором можно срывать зло за все несовершенство этого мира, когда оскорбления, скандалы и физиче-

ское насилие становятся для него частью повседневности. Это история матери, которая лишает его связи с отцом и разрывает в клочья сам образ отца и позднее – образ мужчины. Это и тема бабушки, стоящей во главе семьи, – она для своих детей тиран и жертва одновременно, обожающая внука и бросающая зерна его будущей катастрофы в хорошо подготовленную ее дочь почву. Закончив второй роман «Сдача», роман-цепочку из рассказов, объединенных общим героем – разными людьми в каждом рассказе, однако скрепленными единой личностью автора, опыт которого, видоизмененный и драматизированный, они проживают, – Тахцис замечает в одном из интервью, что эта его книга, в отличие от «Третьего брака», уже вошедшего в канон, никогда не будет включена в списки школьной литературы (хотя надо отметить, что ни для одной из своих книг он не желал такой участи, памятуя о том, что при всей своей невероятной любви к чтению, читать с удовольствием книги из учебника не мог). Никогда не будет – в силу невероятной реалистичности, тяжести и откровенности ситуаций, в которых оказывается его герой, проходящий все этапы и все опасности взросления мальчика и юноши. Тахцис замечает, что эта его книга, которая, конечно, будет принята в штыки целомудренными критиками, должна стать учебником для матерей, чтобы те знали, какие губительные открытия могут ожидать их детей на этом пути. И речь здесь, конечно, не только о внешних опасностях, но и о том, какие тяжелые последствия для формирования личности влечет за собой *modus operandi*, избранный когда-то двумя главными женщинами в его семье – сейчас его обозначают термином «домашнее насилие». В случае Тахциса это привело к тотальному одиночеству и выбору того пути в личной жизни, который остался с ним навсегда и который, как предполагается, мог привести его к смерти: два мира в жизни Тахциса – день и ночь, день для творчества и ночь для тела – никогда не пересекались. Костас Тахцис, как и Пьер Паоло Пазолини, с которым его нередко сравнивают, никогда не скрывал ни своей жизни, ни своей личности – трагической, изломанной и сформировавшейся скорее вопреки, нежели благодаря тому тотальному насилию, с которым он столкнулся во время жизни с матерью и бабушкой, пытавшихся, по их словам, как и многие им подобные, «сделать из него человека».

Психологи утверждают, что большинство детей, оказавшихся в таких страшных и невозможных для развития условиях, лишены нормального будущего и обречены выбирать в дальнейшем путь саморазрушения. Выживают, платя за это немалую цену, единицы. Сила личности Костаса Тахциса оказалась такова, что то, что должно было его разрушить, дало миру великого писателя – великого не только в истории греческой литературы, но и в мировом контексте.

Возможности печатной книги иногда ограничивают те объемы информации, которые мы можем в нее включить. В этом издании представлена только малая часть творческого наследия Тахциса, но и она позволяет понять масштаб его дарования, увидеть Грецию такой, какой она была на протяжении почти столетия и какой ее видели сами греки, иногда в отражении ее древней и новой истории, иногда в зеркале ее же литературы и искусства, которые позволяют, наконец, ощутить живую связь и в известном смысле одномоментность времени в разных его эпохах, когда трагедии Еврипида оказываются не большей литературной фикцией, чем распад семьи, а классическая древность – почти современностью. Но главным достоинством произведений Тахциса всегда было то удовольствие от чтения, которое они обещают своим читателям.

Последнее, что стоит отметить, эта книга никогда не смогла бы появиться, если бы не участие в ее подготовке и издании – прямое или косвенное – многих людей. Я считаю крайне приятным долгом выразить глубокую благодарность своим учителям Азе Алибековне Тахо-Годи, Ирине Игоревне Ковалевой, Димитрису Яламасу, Тамаре Федоровне Теперик и Марии Цанцаноглу, открывшим мне Грецию и изумительный мир ее бесконечно прекрасных истории, литературы и языка, Глебу Ивановичу Соколову за незабываемые лекции об искусстве Древней Греции, Софье Борисовне Ильинской и Мицосу Александропулосу за помощь в изучении творчества Тахциса и за рассказы о нем самом, своим коллегам Анне Феликсовне Михайловой за постоянную готовность ответить на самые сложные вопросы, касающиеся специфики

жизни в Греции в разные периоды ее истории, и Ирине Витальевне Тресоруковой не только за советы, но и за ее чудесную работу о Карагиозисе, позволившую понять некоторые реалии в текстах Тахциса, а также Евгению Ивановичу Зуенко, чьи бесценные замечания и рекомендации по редакции перевода значительно его улучшили. Особую признательность следует выразить художнику Алекосу Фасианосу, другу Костаса Тахциса и бессменному автору оформления почти всех его книг, за рисунок для обложки – он был подготовлен специально для издания на русском языке и предоставлен бесплатно.

Третий брак



Часть первая

1

Я не могу больше, не могу, не могу, не могу, я больше ее не выдержу!.. Да что же это такое, что же это за наказание за грехи мои тяжкие, что Ты посылаешь мне, Господи? Что же я сделала, что Ты так жестоко меня караешь?! Сколько еще ей сидеть у меня на шее? До каких пор терпеть, видеть эту гнусную харю, слышать этот омерзительный голос, до каких пор?! Неужели не найдется, в конце концов, какой-нибудь кривой-слепой, который женится на ней и спасет меня, спасет от этой суки, которую подбросил мне ее отец не иначе как для того, чтобы отомстить, – будь прокляты те, кто не пустил меня на аборт!..

Хотя что, собственно, я их проклинаяю? Их больше нет. Да и не их это вина. Я, я одна виновата, что их послушала. В таких делах никому не стоит верить, только себе, никому другому!.. Пока она была ребенком, я утешала себя, что время все поставит на свои места. «Она станет другой! – говорила я. – Она исправится. В конце концов, рано или поздно, но в один прекрасный день она выйдет замуж. И кто-то другой посадит ее себе на шею». Как же! Сейчас! Напрасно я надеялась. Если все так пойдет и дальше, как пить дать – быть ей старой девой. Да и как не стать, если она такая? Ах, чтоб ей пусто было, этой гадюке Эразмии, вот во что вылились эти ее поповские штучки!.. Ну какой, какой же мужчина, я вас спрашиваю, обернется вслед вот этому чудищу и посмотрит на нее с интересом, если она так одевается, так себя ведет и так разговаривает? Какой нормальный мужчина сделает матерью своих детей такую – с этими ее бредовыми идеями, истериками, экземой, от которой она все чешется и чешется, так что экземе этой никогда не зажить, не засохнуть? Ой, Боже, так и останется она в девках, как пить дать останется, и горе мне, горе, я уж и не знаю, кого мне больше жалеть – ее или себя? Потому как, что бы я там об этой дурище ни говорила, все это так, пустое, слова. Я ей мать, и душа у меня за нее болит.

Но, послушайте, мне ведь и себя жалко. Каждый раз, когда она закатывает истерику, у меня разыгрывается язва. «Раз уж Господь сотворил тебя страшилищем, – говорю я ей, – так ты уж оденься как-нибудь поинтереснее, глядишь, и сможешь соблазнить кого-никого!» Но, увы, она не похожа на меня и в этом. Я бы не сказала, что я такая уж красавица. Но уж что-то, а впечатление произвести умею. Уж я-то всегда умела одеться. В ее возрасте меня долго учить не надо было, на лету все схватывала. Я шла, и мужчины все как один смотрели мне вслед. Что твои подсолнухи на солнце! Да уж, я-то не была как это земноводное. Хотела бы я знать, на какого дьявола она похожа. Не на меня, не на бабушку, о дедушке и вовсе говорить

не приходится, а уж об ее отце и того меньше. Пусть он и был последним мерзавцем, пусть он был тем, кем он был, но он был очень даже хорош. И он был красивым мужчиной – очень красивым, даже слишком, куда больше, чем это пристало мужчине...

Да, я не красавица! Но умею жить. Какая женщина в моем возрасте выглядела бы так хорошо, как я? Все мои подружки и одноклассницы по Арсакийской гимназии слов нет как сдали. Встретишь их, бывало, на улице и вздрогнешь. Да они же просто старушки!.. И вовсе не потому, что уже внуки пошли, – вот у Юлии, например, внуков нет, – просто они себя запустили. Демобилизовались – и с концами. А ведь тело не старится, пока душа молода. «Пусть мои дочки теперь наряжаются! – говорят они. – Пусть наши дети идут на танцы и веселятся до упаду! Мы-то свой хлебушек уже сжевали!» Но они говорят так, потому что их дети стоят любой жертвы. У них же нет Марии! Они и знать не знают, что это такое – быть матерью Марии, поэтому я и не виню их за то, что они все как одна взвились до небес, узнав, что я снова вышла замуж вместо того, чтобы приглядеть кого-нибудь для нее. Они же не понимают, что в тот день, когда я решила выкинуть этот фортель и выйти за Тодороса, я взвесила все за и против. Дорогая, сказала я сама себе, Мария – это жертва кораблекрушения, которая вот-вот потонет... Если я возьмусь ее спасти, она и меня за собой утащит. Если же хотя бы я выплыву, то так у нее будет еще немного времени, чтобы подрасти и хоть в чем-то повзрослеть. «Да выдай ты ее замуж, – говорили мне все вокруг, – и вот увидишь, ты сама ее не узнаешь». Я должна выдать ее замуж? А сама она найти мужа не может? Я, что ли, должна жениха на блюдечке поднести? Да со мной в ее возрасте по десять человек одновременно флиртовали. Куда бы я ни пошла, так и крутились вокруг моей юбки. Кому бы ни сказала: «Тебя возьму», побежал бы на край света!.. И как же это, скажете вы, в таком случае меня угораздило так вляпаться с Фотисом? Ну да это совсем другая история. Я стараюсь об этом вовсе не вспоминать, что теперь толку, только еще больше нервы себе треплешь. Может быть, иногда говорю я себе, так уж было провидением предназначено, чтобы я вышла за него и пережила все, что пережила. Предначертано мне было родить Медузу!.. А иногда я, наоборот, думаю, что ни Бог тут ни при чем, ни дьявол, ни судьба. Все моя вина, ничья больше! Я была упрямой, я закусила удила. Сказала: «Выйду за него», – и вышла. Из одного только упрямства. Только потому, что он не нравился никому из моих родных. Даже покойному папе, который всегда был очень осторожен в своих суждениях. Я не собиралась давать им еще один шанс влезть в мои дела и в мою жизнь, как они это уже однажды сделали. С меня хватило того горя, что они причинили мне своими кознями против Аргириса. Мне уже было не восемнадцать, как тогда, а двадцать семь. Я была независима и полна решимости делать то, что мне только в голову взбредет. В голову-то взбрело, да без глазенок осталась!..

Ну да это совсем разные вещи. Все хоть раз, да ошибаются. Но это что – повод платить вечно за одну глупую ошибку? Сколько я еще проживу? Десять лет? Двадцать? Кто знает! Я могу выйти сегодня на улицу и попасть под машину, вон они носятся как сумасшедшие. Но даже если на все про все у меня остался час, то я намерена прожить его так, как я хочу! Вряд ли кира-Галатея² произведет на свет еще одну Нину. Она уж давно на том свете. Хоть бы пожить без этого брюзжания, сосредоточиться чуть-чуть и подумать о куда более серьезных вещах, чем вечная тема Марии, – Господи ты Боже мой, ну неужели Ты никогда не дашь мне этой радости?..

Вот уже два-три дня, как она взъелась на Тодороса. На нее такое накатывает время от времени. Шваркает дверьми у него перед носом. Отказывается есть с нами за одним столом. А когда мы остаемся с ней наедине, начинает поносить его с ног до головы, и его, и всю его родню до седьмого колена, хотя бедняга не дает ей к тому ни малейшего повода. Завидует она мне, чтоб ей пусто было, что тут еще скажешь? «Если тебе так нейдет, – говорю я ей

² Кира (греч.) – госпожа.

сегодня, – сходи в парк и найди себе какого-нибудь козла!.. Парк недалеко. В двух шагах. Пойди и сними какого-нибудь матроса или солдата, чтоб они тебе засадили! Я, что ли, должна его тебе отыскать? В твоём возрасте я не только тебя родила, но уже собиралась выйти замуж второй раз! Давай, вперед! – говорю ей. – Одевайся, марш из дома, и клянусь прахом моего отца, человека, которого я любила больше всех на свете, кого бы ты ни привела в мой дом, кем бы он ни был, но если ты придешь и скажешь: «С сегодняшнего дня этот господин – мой друг, мой жених, мой муж», я и полсловечка против не скажу, ты из меня ползвучка и клещами не вытянешь. Да еще десять раз ему в ножки поклонюсь. Не я выйду за него замуж. Не я буду спать с ним. Ты с ним будешь спать. Лишь бы только он тебя не одурачил, конечно, – потому что таким засиделым, как ты, обычно просто дурят голову, – не сожрал бы твое приданое да и не бросил бы тебя, так что в итоге мало мне тебя на моей шее, да еще и выbledок прибавится! Давай, – говорю ей, – оделась и вперед на улицу; чтоб глаза мои тебя не видели! Если не хочешь мужа – у тебя же все не как у людей, так что ты и сама не знаешь, чего хочешь от жизни, – тогда иди и запишись в монастыре. Еще осталось несколько. Иди в Кератею к святой Мариам³! Давай, стань монахиней, как Эразмия, твой величайший образец! Ведь твой отец специально мне такой подарочек подкинул, завещав превратить мою жизнь в ад, не так ли? Давай! Одевайся! Сделай, наконец, то, что хочешь. Но только будь осторожна. Предупреждаю тебя в последний раз: даже не думай устроить мне еще хоть раз такую бурю, как сегодня, и уж тем паче при Тодоросе, потому что в противном случае, вот тебе крест, я превращусь в убийцу Кастро⁴ и разрублю тебя на мелкие кусочки! И не смей убирать из гостиной фотографии моего отца и кыры-Экави! Что с того, что они плохо сделаны? Скажите, пожалуйста, теперь не модно вешать фотографии на стенку. Пока я жива, этот дом мой! Я здесь хозяйка и буду вешать на стены все, что захочу, ты меня слышала? Вот когда ты, наконец, Бог даст, выйдешь замуж и у тебя будет свой дом или когда я, как ты выражаешься, схожну и ты все это унаследуешь – а по тому, как ты надо мной измываешься, этого счастливого дня тебе недолго осталось ждать, – вот тогда хоть сама на стену повесься... Но пока я жива и последний свой вздох еще не испустила, я хочу видеть фотографии людей, которые меня любили и которые, увы, уже умерли и оставили меня на съедение такой ведьме, как ты!» Выпала я все это, пошла и повесила фотографии папы и кыры-Экави на место.

Она это как увидела, точно с цепи сорвалась. «Ой-ой-ой! – завизжала. – Смотрите, как мы боимся, чтобы не обидели нашу свекровь-прачку!» А я ей в ответ: «Если уж тут и есть прачки, так это только ты». Так начался наш сегодняшний скандал. «Сама ты прачка», – говорю ей, и – слово за слово – чуть дело до драки не дошло. Я вспыхнула как порох, потому что знаю, она специально кыру-Экави поносит, чтобы меня задеть. Услышал бы Тодорос, как она его мать прачкой называет, мигом бы за волосы ухватил да всыпал бы ей по первое число. Да и кого еще это может расстроить? Кого другого, кроме меня и его? Уж не Марию, конечно. Мария – та скандалами наслаждается, жить без них не может.

Но даже и не будь Тодороса, все равно, пока жива, я хочу видеть фотографии кыры-Экави на их месте. Не потому, что она моя свекровь. Какая невестка любит свою свекровь? Только одному Богу ведомо: если бы она была жива, я бы ни за что на свете не пошла бы за ее сына. Она могла быть лучшей – лучше не бывает – подругой во всем белом свете, но только не свекровью. Уж я-то это знала, как никто другой. Не говоря уже о том, что в том душевном состоянии, в котором она пребывала в последние годы, она уже не способна была ни к каким человеческим отношениям. То была уже не прежняя кира-Экави, с ее шутками, с верой в жизнь и людей – под напускным пессимизмом, не та кира-Экави, которой можно было рассказать все свои

³ Мария (Мариам) Сулакиото – первая игуменья Святовведенского женского монастыря в Кератес (предместье Афин), основанного в 1927 году.

⁴ Выражение «Убийца Кастро» стало нарицательным после сенсационного преступления: в начале XX века некая госпожа Кастро вместе со своей матерью убила мужа, разрезала его на куски и сбросила в реку.

горести и которая в ответ давала советы так, как только она одна умела это делать. Ну уж нет! Если бы она была жива, когда Тодорос вернулся с Ближнего Востока, у меня бы и мысли бы такой не промелькнуло – стать ее невесткой. Это было бы смешно. Невообразимо. Мы бы неминуемо поссорились. Я уж молчу о том, как бы все над нами потешались. Даже и сейчас я иной раз встречаю знакомых тех времен, которых сто лет не видела, и они тотчас говорят мне: «Нет, ну ты только вообрази, Нина, могла ли ты себе представить, что однажды станешь ее невесткой?» И они говорят это с такой издевкой, что, если бы я обращала на них внимание, мне бы надо было переругаться со всем миром. Ну, так или иначе, думаю я порой, отчасти они правы. И в самом деле забавно, что все случилось так, как оно случилось, но только не с той точки зрения, какой придерживаются наши знакомые. Кто из всех этих сплетниц по-настоящему знал киру-Экави? Кто знал ее золотое сердце? Иногда я сомневаюсь, что и сама до конца понимала ее, хотя уж мы-то с ней съели не один пуд соли...

Некоторые находили ее занятой. Некоторые смотрели на нее с презрением, как, например, эта снобка Юлия. Ну никак не могла она уразуметь, как это я могу с ней общаться. В открытую она, конечно, ни разу не сказала, все больше намеками. «У тебя, Нина, такое доброе сердце! – бывало, говорит она мне. – Твой дом для всех открыт, кем бы они ни были. Я вот всегда своей Лилике говорю: у Нины самое доброе сердце в мире». Никак ей было не понять, почему это я предпочитала общество кира-Экави ее собственному или жены Карусоса.

Марта считала ее шутком и однажды так и сказала: «Ты как императрица, у них всегда были под рукой шуты и карлики». И до нее тоже никак не могло дойти, хоть она и строила из себя такую умную-образованную, что же это было такое, что заставляло кира Экави вести себя и как шут тоже, – а все это было только из смирения. Киру-Экави хлебом не корми, дай превратить свою жизнь в драму, но чем больше она ее драматизировала, тем смешнее это выходило, – и всегда она язвила только на свой счет, никогда ни про кого другого.

Что же до тети Катинго с ее ханжеством и смехотворными принципами, это уж само собой, что она воспринимала кира-Экави исключительно как воплощение дьявола на земле. Ну что ж, в каком-то смысле она была права: кира-Экави была и дьяволом тоже. Но в то же время она была и богом, и святой, и нет никого, кто знал бы это лучше, чем я, потому что это я прошла с ней по пути всей ее жизни, пусть не с начала, но до самого конца, и только я понимала ее душу так, как ее не понимали даже собственные дети!..

Ее дети, ха! Имея такую дочь, как моя, я лучше, чем кто бы то ни было, знаю, что из всех Божьих созданий нет и не может быть никого во всем этом мире, кто понимал бы нас хуже, чем те, кто вышли из нашего чрева. И если всего этого недостаточно для того, чтобы хотеть видеть ее фотографии у себя в гостиной, тогда скажем так: я это делаю, потому что мы провели вместе незабываемые дни. Потому что я открыла ей мое сердце, а я его родной матери не открывала. Потому что она, все понимая по своему горькому опыту со своей дочерью, да и со всеми остальными детьми (ведь, в конце концов, Поликсена повела себя не лучше, чем Елена), была единственной из всех моих родных и близких, кто сочувствовал мне от всего сердца. Единственной, кто разделял и понимал мое горе и мою печаль, а как же мне не горевать, если такая мне выпала злосчастная участь – произвести на свет дитя-чудовище!..

2

С кирою-Экави я познакомилась в 1937 году. Или нет, не в 37-м. Точно, это произошло летом 36-го, в августе. Я потому так хорошо это помню, что тогда вот-вот должно было наступить Успение Богородицы. Мы как раз готовились к празднованию дня рождения Ее Высочества, и у нас всюду шла генеральная уборка, борьба с пылью по всем углам, натирка паркета и прочие радости. Мы с Мариэттой, растрепанные, босиком, как раз вышли на терраску на крыше и давай перетряхивать бархатные портьеры из гостиной. Это был последний ужас на сегодня.

Хватит уже, думала я, завтра тоже будет день, успеем насладиться. «Добьем портьеры и пойдем ополоснемся, чтобы хоть как-то освежиться». Не успела я договорить, как до нас донеслось трень-трень колокольчика – значит, кто-то открыл калитку. «Поди-ка посмотри, кого это там нелегкая принесла, – говорю я ей. – Давай сюда твой угол и посмотри, кто это. Надеюсь, свои, а не какая-нибудь еще особо важная персона, а то я на чучело огородное похожа. Если меня сейчас кто увидит из чужих, как пить дать за цыганку примет».

Она бросила мне свой край портьеры и легкой козочкой – ах, Мариэтта, моя Мариэтта, где-то ты теперь? – спрыгнула на балкончик над прачечной. С него прекрасно просматривается вся дорожка от калитки до главного входа. Она подозрительно сморщилась, как поступала всякий раз, как встречала кого-нибудь новенького. Я наблюдала за ней и от души веселилась. Наверняка кто-нибудь чужой, подумала я. Чтоб Мариэтта так надулась, точно кто-то незнакомый должен быть. Такая уж она была. Прямо как пес цепной – чужих на дух не переносила. Она вернулась на крышу, взялась за портьеру, и мы продолжили.

Я поняла, что она заговаривать не собирается, я уже все ее повадки наизусть выучила. «Ну и?..» – говорю я ей. «Никого». – «Как никого, когда я слышала колокольчик». – «Так никого. Я ж тебе говорю». Так она со мной разговаривала. «Эразмия. – соблаговолила она наконец сообщить. – С какой-то оборванкой».

Для Мариэтты Эразмия была «никто», как Одиссей для Полифема. Но, как я и думала, кто-то чужой все-таки появился. Но вот кто – я и понятия не имела. Наверняка кто-нибудь из этих субчиков, с которыми Эразмия водила знакомство у святой Евфимии, сказала я сама себе, иначе Мариэтта не поминала бы оборванок. Так она называла всех, своих и чужих, кто ей был не по душе.

К несчастью, у нее была дурная привычка обзывать так и мать Андониса. «Оборванка» на «здрасьте», «оборванка» на «до свиданья». К той это так и прилипло – ну, она и в самом деле была Оборванкой с большой буквы. Кончилось тем, что мы ее по-другому уж и не называли, когда Андониса не было дома, и я всякий раз тряслась, как бы у кого-нибудь это не вырвалось и при нем. Я понимала, что он и слова не скажет, но расстроился бы человек, а у него и так расстройств было выше крыши из-за моей дочери, которая поедом его ела. А Борос мне тысячу раз говорил: «Нина, позаботься о том, чтобы ему не приходилось волноваться. Его сердце в очень плохом состоянии. Побереги его». Но что я строила со всем моим терпением и заботами, то разрушала моя дочь своим поганым языком. Только он соберется замечание ей сделать, как она уже заявляет: «Оставь меня в покое! Я тебя знать не знаю! Ты мне не отец!..» И это в двенадцать-то лет. И так доводила взрослого мужика, что его судороги хватили, дрожал, как рыба на песке.

Мариэтту мы привезли с Андроса, тем летом, когда отправились отдохнуть в имение тети Болены, двоюродной сестры отца. Мариэтта была из Писомерии – со всеми вытекающими. А писомериты, спросите любого андросца, знамениты своим негостеприимством и ядовитым языком, и Мариэтта была дочерью своей родины на все сто. Меня она любила, как преданный пес. Андониса уважала, пусть даже они и задирались друг с другом непрерывно. Но в глубине души она знала, кто здесь хозяин, и даже побаивалась его слегка. А вот от всех остальных, своих ли, чужих ли, камня на камне не оставляла. Не было человека, к которому она не прилепила бы прозвища. Тетю Катинго она звала ханжой, а никак не госпожой. Принцессу – индюком. Когда она так говорила, я делала вид, что сержусь, чтобы не распускалась, но про себя признавала, что трудно придумать более удачное прозвище. Она всегда была надутый, как индюк, индюк она и есть, индюком надутым и останется!

Но больше всех прочих она не перебарывала Эразмию. Та у нее просто в печенках сидела. Как посмотрит на нее – передернется. А когда та притаскивала с собой своих подружек, чтобы похвастаться нашим домом, я с трудом удерживала Мариэтту, чтобы она не выгнала всю честную компанию. Не раз и не два она объявляла дорогим гостям, что я больна и не принимаю.

«Пойди свари нам кофейку», – говорила я Мариэтте. Покойная мама приучила меня быть дружелюбной по отношению ко всем, а отец – не быть снобом и не отвергать никого прежде, чем хоть чуть-чуть его узнаешь, а как еще узнать человека, если не выпить с ним кофе? «Пойди сделай кофе и вишневое варенье достань!» – сколько раз произносила я эту фразу. И каждый раз она послушно шла на кухню и, высунувшись так, чтобы только я ее видела, начинала корчить рожицы, смысл коих был ясен без лишних объяснений: а вот не буду варить им кофе! Попробуй только скажи что-нибудь! Хватит с них и варенья!.. Да уж, иногда она меня ставила в крайне неудобное положение.

Хотя, с другой стороны, она говорила вслух о том, о чем я не решалась заикнуться, к тому же она была честной, работающей и преданной, да и вообще в последние годы перед войной, из-за болезни Андониса и отсутствия хоть какого-то заработка, мы докатились до того, что задолжали ей за десять месяцев работы, а она слова нам худого не сказала, поэтому я закрывала глаза на все ее недостатки и вполглаза смотрела на ее «гостеприимство», тем более что со временем наши гости к ней привыкали и не обижались. Пусть, говорила я себе, почувствует, что и она член семьи и имеет право на свое мнение.

«Так, все, ну эти портьеры к черту! – говорю я ей. – Лично я смертельно устала! Черт бы побрал эти праздники со всем их весельем, вот как-нибудь вселится в меня сам сатана, и я хлопну дверью у всех перед носом!.. Что она такое, эта твоя оборванка?» – спрашиваю я Мариэтту. Уж я-то знала, если ее не спросишь, сама ни за что рта не раскроет. Да даже если и спросишь, она не из тех, кто легко раскалывается. «Уф!.. Говорю же тебе, оборванка!..» Она была немногословна. И привыкла говорить со мной на «ты». Только к покойному отцу на «вы» и обращалась. Послушал бы это кто-нибудь, кто нас не знает, решил бы, что она хозяйка, а я – прислуга.

Но, возможно, в первый раз в своей жизни Мариэтта оказалась неправа. Кира-Экави не была оборванкой, она вообще не имела никакого отношения к тому сброду, который постоянно таскала в мой дом Эразмия, хотя я много раз ставила ее в известность, что не желаю никаких посторонних лиц в моем доме (но она не обращала на меня внимания, пряталась за спиной Андониса). Нет! Кира-Экави не была оборванкой.

Я ее сразу раскусила, и первое впечатление меня не обмануло, я не разочаровалась в ней даже и тогда, когда выяснила, что мои первые догадки были верны и что она и в самом деле познакомилась с Эразмией у святой Евфимии. Ах, один Бог знает, сколько я претерпела и терплю до сих пор из-за этой старой «святой» мошенницы!..

Святая Евфимия была «монахиней». В молодости таскалась по округе и продавала свечи, ладан, «щепочки со Святаго Креста» и жития святых. Должно быть, в конце концов она их все-таки прочла, поскольку до нее дошло, что не так уж трудно кому-нибудь еще, кроме древних святых отцов, заделаться святым, потому как, когда она состарилась и не могла уже больше туда-сюда ходить по улицам и переулкам, сняла комнатушку возле церкви Святого Левтериса, принялась изображать святую и жила на подношения уверовавших в ее святость (от одного – триста грамм сахара, от другого – сто пятьдесят кофе и так далее и тому подобное), ими, как я позже узнала, торговала ее невестка – у святой было двое сыновей. Своей славой она была обязана прежде всего тому, что вот уже сорок лет не ела мяса, но кроме этого подвига за ней числился и другой – она предсказывала будущее.

Однажды и я решила отправиться к ней на знакомство. Не для того, чтобы узнать свою судьбу. Это мне было известно лучше, чем кому-либо другому, – погожий денек по утрачку видно. Пошла, только чтобы умаслить Андониса. Господи, помилуй его душу, но в тот момент он просто всем рылом в религию зарылся – ровно твоя свинья в желуды. Когда мы поженились, большего безбожника и нечестивца свет не видывал. Нет, правда, такого богохульника я в жизни не встречала. Не то чтобы он был безбожником, потому что богохульствовал. Бывают верующие люди, которые поносят Христа и Богородицу и по бабушке, и по матушке со всем

простодушием, а бывают такие, кто не верит, но и сквернословить не будет, хоть ты его озолоти; таким был бедный папа. Это, знаете ли, вопрос воспитания. Андонис не относился ни к тем, ни к другим. Он ругался страстно, зная цену каждому извергнутому слову. Высмеивал все, что имело хоть какое-то отношение к Богу или церкви. Дня не было, чтоб он не помянул мою привычку зажигать лампадку под иконой – не иначе как чтоб тебе отпустили все твои грехи, так он говорил. Он еще имел наглость говорить о моих прегрешениях. Я-то, горемычная, зажигала ее прежде всего из уважения к памяти покойницы мамы. Я чувствовала, что неправильно отказываться от традиции только потому, что она умерла, от традиции, которой наша семья придерживалась с тех пор, как я начала познавать мир. А еще я делала это и потому, что, по правде говоря, всегда боялась спать в темноте. Но таким Андонис был до тех пор, пока не заболел.

Когда у Андониса обнаружили гемиплегию и у него отнялась левая нога, то все дела он передал в руки одного из кузенов, который в конце концов отблагодарил его за оказанное доверие не только словом, но и делом, обчистив до последней нитки, мы же отправились на все лето в Корони. Он впервые возвращался в свою деревню после того, как столько лет провёл в Афинах. И это я заставила его уехать из города. Мы могли бы поехать на Андрос, как когда-то. Но я надеялась, что климат Корони окажется полезнее. На Андросе все-таки слишком влажно. Кроме того, так мне казалось тогда, и с психологической точки зрения ему будет полезно вернуться спустя годы в родные пенаты, туда, где прошли его детские и юношеские годы. Это поднимет ему настроение, размышляла я, придаст мужества. И как потом стало очевидно, я была не так уж неправа. Только все произошло совсем не так, как я предполагала.

Борос, наблюдавший его в Афинах, прописал ежеутренние прогулки для укрепления мышц. Как правило, он поднимался в крепость на вершине горы. Если вы ни разу не ездили в Корони, значит, знать не знаете, что это такое – красота природы. Когда я была еще юной девицей, мы всей нашей веселой компанией ездили в путешествия на Эгину, в Метаны, на Сунион, на Андрос и так далее и тому подобное, но такой красоты, как в Корони, я нигде не видела. Ох, грехи мои тяжкие, вот, надеюсь, кончится когда-нибудь эта чертова история, эта кровавая мясорубка, когда брат убивает брата, и Господь удостоит меня радости снова туда отправиться, взглянуть на это дивное место пусть даже и всего один разочек, прежде чем навеки закроются мои глаза. Когда-то у нас была книга Афины Тарсули с фотографиями разных мест Пелопоннеса, была среди них и фотография Корони. Но что случилось с этой книгой, где она теперь, понятия не имею, она мне уже много лет как не попадалась.

Та крепость осталась от венецианцев. Вдоль ее давно разрушенных стен вилась узенькая дорожка, спускавшаяся к морю, напрямиком в одну из пещер. Там, в этой пещере, когда-то, много веков назад, нашли икону Божьей матери, созданную, если верить преданиям, самим евангелистом Лукой. А поскольку она считалась чудотворной, так же как икона Тиносской Божьей Матери, то каждый год на Введение во храм там собиралось немало народу из окрестных деревень, дабы поклониться чуду. И многие страждущие излечивались. Но все это я узнала значительно позже. А так я без задней мысли отправлялась вместе с ним – мне нравился вид из крепости, да и не хотелось оставлять его одного (я боялась, как бы он не упал и не разбился бы на камнях, оставив меня, горемычную, одну-одинешеньку). Мы брали с собой корзинку с яйцами, сыром, помидорами и свежайшим деревенским хлебом и, добравшись до вершины, усаживались на травке и перекусывали. Иногда я отправляла вместе с ним мою драгоценную дочурку, в тех случаях, разумеется, если мне удавалось оторвать ее от постели – она у меня всегда страдала сонной болезнью. «Что, – говорю, – снова беда, снова нас укусила муха цеце?» Но в тот день он не захотел идти с ней. «Не буди ее, – сказал он, отмахиваясь, – один пойду». Я знала, каким он бывал порой твердолобым упрямец. Уж если сказал что, хоть ты тресни, все одно его с места не сдвинешь. Я-то пойти не могла, даже если бы он и соизволил меня пригласить. Я с его двоюродной сестрой Артемисией уговорилась наготовить лапши, чтобы забрать с собой в Афины. Мы как раз задумали отъезд дней этак через десять. В Корони мы застряли

больше чем на три месяца, и меня одолела тоска по Афинам. Скажи мне кто: останься еще хоть на денечек, – да ни за что. Да и он уже начал нервничать. Все его мысли были о покинутой без присмотра работе.

Обычно он возвращался около одиннадцати. «Одиннадцать! – сказала я Артемисии, когда услышала, как пробили часы на церкви. – Не поставишь кофейку? Он уже вот-вот придет...» Но минуло полдвенадцатого, двенадцать, полпервого, – где Андонис? «Бегом, – говорю я Принцессе, – посмотри, может, он у своих кузенов, а оттуда пулей в кофейню! Возможно, он пошел сразу туда». Но мерзкая девчонка давай одеваться да прихорашиваться, как будто под венец собралась. Нет чтобы разделить мою тревогу, нет, эта идиотка пошла, расселась перед зеркалом и давай прическу укладывать. Одну прядь заложит, другая развалится. Я это как увидела, аж затряслась от ярости. «Дрянь бесчувственная! – кричу я ей. – Жалкое создание! Ты меня в могилу сведешь! Как только ты можешь сидеть тут и прихорашиваться перед зеркалом вместо того, чтобы пойти и сделать, что я просила!.. Ну, берегись, вот я тебе задам, когда вернусь!» Бросаю свою лапшу на полдороге, бегу к его кузенам, оттуда в кофейню, на площадь, бегаю туда-сюда как безумная, спрашивая всех подряд, не видел ли его кто. Никто не видел. Поскользнулся и упал, думала я. Поскользнулся, упал, и теперь я найду его мертвым! Пока я бежала к крепости, мне пришло в голову все, кроме того, что случилось на самом деле.

Я уже почти дошла до вершины, от страха не чуя ног под собой, когда увидела, как он спускается вниз, держа палку над головой, чтобы издалека показать мне, что она ему больше не нужна и что он идет сам. «Андонис! Ты! Ты! Как ты мог! Как тебе не стыдно! – закричала я, когда он приблизился, и разрыдалась. – Как тебе не стыдно так меня путать! Неужели ты не понимаешь, что я тут чуть с ума не сошла от страха?» И заплакала, как маленький ребенок. Он обхватил меня за талию, и мы, обнявшись, пошли вниз.

Как произошло его чудо, он не рассказал. То, что газеты Каламаты и Триполи ухитрились раздобыть столько подробностей, тоже оказалось чудом. Вторым. Деревенские собрались у нас в доме, чтобы собственными глазами узреть избранника Богородицы. Его касались, его щупали, его тормозили, чтобы убедиться, что он настоящий. «Ну а теперь-ка, кир-Андонис, давай становись марафонцем!» – сказал ему, помню, какой-то крестьянин, изо всех сил треснув его по колену. Двор Артемисии наполнился слепыми, хромыми и сифилитиками. Трудно было поверить, что вся эта нечисть столько времени оставалась невидимой, скрываясь за чистенькими, свежепобеленными фасадами деревенских домов. Но когда я услышала, что новообращенный кир-Андонис начал раздавать деньги бедным, я поняла, что пришло время топнуть ногой. Я чуть ли не насильно схватила его, и мы отбыли в Афины. Не прошло и недели после нашего возвращения, как у него снова парализовало ногу, да еще хуже прежнего!..

Ах, ну что же я за несчастная женщина, ну отчего вся моя жизнь пошла наперекосяк! – вопрошала я неизвестно кого, поднимаясь к церкви Святого Левтериса. Мало того, что не успели мы и пяти лет прожить вместе, как он заболел, как раз тогда, когда и я могла бы начать радоваться жизни, ну хоть чуть-чуть, вместо того чтобы становиться сиделкой при убогом, так теперь еще и эта напасть – надобно, видите ли, опуститься до уровня двинувшейся на религии старухи, тащиться по этим закоулкам на поклон к бог знает какой мошеннице, и это должна делать я, Нина, и все ради того, чтобы заткнуть ему рот, чтобы он перестал твердить, что это я виновата и в том, что его болезнь и не думала проходить, и что дела идут все хуже и хуже... Но что ж, в конце концов, Андонис – мой муж, снова и снова повторяла я себе, и быть снисходительной – мой долг.

Что меня больше всего выводило из себя, так это роль, которую во всем этом отвратительном водевиле сыграла Эразмия. Эразмия – бывшая ученица моей мамы. Когда-то у мамы было швейное ателье на улице Сина, и в один прекрасный день добрые родственники прислали Эразмию с Кефаллонии в Афины пожить с замужней сестрой, осевшей в Афинах, помочь ей с новорожденным, а заодно и выучиться шитью. Сначала она как ученица приходила к нам

только днем. Но поскольку она, в отличие от всех прочих девиц, была немногословной и работающей, мама начала ее выделять. Мало-помалу она стала оставаться и по вечерам, до тех пор, пока не водворилась навеки в нашем доме как своя, ближе некуда. И с того момента стала главной и чуть ли не единственной причиной наших с мамой ссор. Она отравила наши отношения. Я, не признаваясь в этом даже себе, ревновала. Чем больше любви выказывала ей мама, тем больше она раздражала меня. Коварная бледная моль. Одна только ее внешность доводила меня до бешенства. Я знала, что она меня ненавидит, и ее ненависть была ядом, от которого не было противоядия. Стоило посмотреть на ее рожу, и если в эту минуту я над чем-то смеялась, смех замерзал на моих губах. Мерзкая тварь меня ненавидела, потому что, пока она слепла, пришивая на юбки бисеринки и пайетки, которые были тогда в большой моде, я развлекалась в Кифисье, читала или бегала с подружками в кино. Тогда оно еще было немым. И мы выходили из одного кинотеатра и тут же шли в другой.

Когда она видела, что я надеваю платья с глубоким декольте, то желтела от злости. А наивная мама, которая ни на секунду не догадывалась об истинной природе чувств Эразмии и считала ее образцом порядочной девушки, спрашивала: «Что с тобой, дитя мое? Ты хорошо себя чувствуешь? Слетай-ка на рыночек, купи десять аршин grosгрейна, заодно и свежим воздухом подышишь!» Эта муха навозная своим лицемерием внушала маме безграничное доверие. Прежде чем приняться за работу, дождь ли, снег ли, она непременно перлась в Святого Дионисия и ставила свечку. И мама, которая очень хотела ходить в церковь, да только никогда у нее не было на это времени, уже начала принимать эту хитрую крысу за ангела-хранителя нашего дома. Глядишь, в угоду Эразмии Бог, может быть, спасет и нас, грешников! «Ты что, плохо себя чувствуешь, дитя мое?..» – ласково спрашивала она ее. А меня запирала в моей комнате, щипала и шипела, что я – вредная эгоистка, которая только и умеет, что тиранить девочек из мастерской.

А потом бедняжка мама заболела – катаракта, так что о шитье уже и речи не было. На время мы были избавлены от Эразмии. Она уехала на Кефаллонию. Мы продали дом на улице Сина и купили вот этот. Но где-то через год она вернулась со своей Кефаллонии, сняла комнату в нашем районе, якобы случайно, и снова начала к нам ходить. Мама звала ее к нам, чтобы та составляла ей компанию, а заодно бы и шпионила за мной. Она тем временем совсем ослепла и нуждалась в паре зрячих глаз, чтобы знать, что в доме происходит как надо, а что требует вмешательства. Мариэтта, несмотря на то что любила и почитала маму, далеко не всегда потакала этим ее прихотям. И в один прекрасный день мама сказала: «Давай-ка переселяйся к нам», но Эразмия отказалась от сладкого угощения, не преминув воспользоваться случаем и подлить яду. «Вы-то меня хотите, – сказала она маме, – да только не забудьте поинтересоваться, что скажет госпожа Нина, ведь она теперь хозяйка в этом доме, не так ли?» Об этой беседе мне рассказала присутствовавшая там Мариэтта. До этой истории я по разным причинам никогда не выказывала ей свою неприязнь открыто. Не из корысти, как теперь заявляет моя дочурка, потому что она, видите ли, работала на нас за так, но по той простой причине, что у меня не было особых поводов ссориться с Эразмией открыто. По характеру я человек терпеливый и сдержанный в высказываниях, особенно в общении с людьми, которых не люблю. Я стараюсь вовсе не обращать на них внимания, пусть даже они делают мне гадости.

Только однажды я чуть было не выставила ее за дверь. Она у меня уже в печенках сидела. Это было в самый разгар наших скандалов с Фотисом, закончившихся разводом, и тогда госпожа Эразмия запиралась вместе с мамой в комнате, и – шу-шу-шу – весь день шло обсуждение моих разногласий с мужем. Они выносили приговоры – обычно в пользу Фотиса – и имели наглость полагать, будто я им буду подчиняться. Или объясняли, как воспитывать мою дочь. Они, видите ли, опасались, как бы я не вырастила ее атеисткой, такой же, «как ты сама, бесстыжая». Ну и чего они добились, спрашивается, – сделали ее себе подобной, тем и погубили. Но даже тогда я все еще терпела. Тогда у мамы, кроме катаракты, нашли еще и рак. Врач не

дал ей даже года жизни, и Эразмия, не могу не признать, была ей больше чем сиделка, больше чем дочь. Днем и ночью она сидела у ее кровати. А когда заболел и отец и я увидела, с какой преданностью и с каким бескорыстием она стала ухаживать и за ним до самой последней его минуты, я была потрясена. И простила все, что она сделала до этого. Часто я думала, что была к ней несправедлива, и испытывала угрызения совести. Может, я и скопище людских пороков, как уверяет моя дочь, но вот в неблагодарности меня упрекнуть точно нельзя.

Короче говоря, когда мы с Андонисом поженились, Эразмия уже была больше чем обычной приживалкой. Она стала членом семьи. Когда умерла мама, а вскоре и папа, она взялась за воспитание Принцессы. Брала ее с собой в церковь, или на ярмарку, или водила ее в парк. Временами я восставала против этого. «Вот что я тебе скажу, – говорила я, – если тебе кажется, что у Марии нет матери, и ты решила ее удочерить – на здоровье! Забирай ее отсюда, и чтобы духу вашего здесь не было, обеих. Сделай из нее монахиню в миру по своему образу и подобию, сколько угодно, но только за пределами моего дома, пожалуйста, чтобы я этого не видела и не слышала!»

Но все это происходило тогда, когда я доходила до крайней степени кипения, – а я редко злилась. В большинстве случаев я возносила хвалы Господу за то, что нашелся хоть один человек, который уведет Марию из дома и даст всем остальным немного передохнуть. Теперь-то я в этом горько раскаиваюсь. Одному только Богу известно, как же дорого я заплатила и плачу до сих пор за те редкие минуты покоя. Я должна была выставить Эразмию из дома сразу же после смерти мамы. Без нее и Мария не превратилась бы в такое чудовище, каким она стала, и не было бы места для всех этих чудес, что случились сначала в Корони, а затем и в Афинах. Даже и в смерти Андониса я виню ее – пусть даже здесь есть только доля ее вины. Если бы Андонис не ударился в религию, он бы никогда не столкнулся с, возможно, самым большим разочарованием в своей жизни, которое в конце концов его и погубило.

До того как заболеть гемиплегией, он доводил Эразмию до слез, безжалостно высмеивая ее религиозный фанатизм. «Что ж ты замуж-то не выйдешь? – спрашивал он ее, бывало. – Что, бережешь кое-что, знаю что, для Христа?» И тут же сам и отвечал, хохоча до слез: «А я знаю почему: потому что он красивый и у него ноги не воняют!» Эразмия бледнела, тряслась от злости, даже мне ее было жалко. Но позже я поняла, что она не нуждалась в моей жалости. Наоборот, она наслаждалась ролью христианской мученицы и иудейского пророка одновременно. Часто она вскипала, обнажала меч, глаза ее метали молнии, и она гремела не хуже твоего громовержца, что-де придет день, когда Господь заставит его заплатить за богохульство, как покарал он такого-то и такую-то, и раздражалась длинным списком из Ветхого Завета. Андонис вроде как пропускал это мимо ушей и продолжал веселиться. Однако пусть он этого и не показывал открыто, но я-то, я уже читала в его душе, как в открытой книге, и видела, что на самом деле эти проклятия падали на благодатную почву. Он был самым обычным крестьянином с большим запасом суеверий в личном багаже. В глубине души он боялся Бога, верил в адские муки (а у него были все основания полагать, что его душа окажется именно там), может, как я иногда думаю, это и было главной причиной, заставлявшей его богохульствовать. Но стоило ему заболеть, тут уж он припомнил каждое ее слово. Она молчала, но глаза ее сияли торжеством. Да ей и не надо было что-нибудь говорить. Ну и ловко же она разлила свою отраву! Я смотрела, как чах Андонис, и догадывалась о той борьбе, что шла у него в душе. «Эразмия права. Я согрешил, и Господь покарал меня» и так далее и тому подобное. Как-то вечером я зашла в спальню и застала его распростертым перед иконостасом. Я притворилась, что ничего не заметила, вышла и закрыла дверь. Вид Андониса, упавшего перед иконами, меня потряс. Пусть я не выношу попов, но я не атеистка. Я верю в ту неведомую силу, что управляет миром. Я была ошеломлена. Но и представить себе не могла, что пройдет совсем немного времени и то, что мне показалось искренним и серьезным раскаянием, превратится в дешевый балаган, которым все и закончилось. Потому как возвращение Андониса в лоно святой церкви было

больше похоже на безумный цирк на выезде. Когда мы вернулись из Корони, Эразмия приняла его как заблудшую овцу, прижала к груди и плакала как дитя. С того самого вечера он отказался спать в нашей общей спальне, и это притом, что мы и так спим каждый на своей кровати. Я уложила Принцессу на диван в гостиной, а ему постелила в ее комнате. «Ну, если так пошли дела, можешь отправляться в монастырь. Что ж ты застрял в чаду и смраде городских соблазнов? Отправляйся на Афон, станешь святым...» – вот что я сказала ему.

Но уезжать в монастырь он не хотел. Предпочел устроить его в моем доме. С помощью Эразмии он перезнакомился со всей этой шушерой, святой Евфимией, с такими попами, сякими попами, расстригами, и с тем монахом, и с этими, со святой в Новом Фалиро и со святой в Крахам, и все они принялись шастать в мой дом денно и ночью, не очень-то обращая на меня внимание, как будто бы хозяйкой здесь была не я, а Эразмия. Я понимала, что все это безобразие не может длиться вечно. Либо он изменится, либо мы разойдемся. Но до поры терпела, заклиная собственного бога сотворить какое-нибудь чудо и избавить меня ото всех этих святых. Самая лучшая политика, казалось мне, просто делать вид, что я с ним согласна, иначе мы и вовсе станем чужими друг другу. Вот с таким настроением я и отправилась знакомиться со святой Евфимией.

Комнату она снимала в большом многоквартирном доме, двор его был весь в лужицах гниющей воды, по которым прыгали босые сопливые мальчишки. Не было никакой нужды интересоваться, какая из всех комнат – ее. Едва я вошла во двор, как мне в нос ударил запах ладана. Всегда его терпеть не могла. Каждый раз, когда мама кадила, я начинала задыхаться, хотя это с годами прошло. Зашла внутрь. В одном углу – металлическая кровать, посередине – стол со стульями вокруг, сундук и на полу плетеный коврик. Самая обычная комната, как у всего простонародья, – если бы не иконы, которые покрывали все четыре стены сверху донизу. Сто, двести икон, всех цветов и видов: Богородица, сидящая одесную. Божья Мать Неусыпная, Божья Мать Умиление, Усекновение главы Иоанна, Святой покров. Введение во храм, Благовещение, Рождение младенца Иисуса, Тайная вечеря. Распятие, Воскресение, все евангелисты, штучно и оптом, мученики, святые обоих полов – и еще целая куча икон, все отпечатанные или рисованные, но ни одной старинной, хотя бы византийской, какие были у нас дома. Посреди всего этого иконного великолепия было и изображение зодиакального круга. А это-то здесь при чем? Тайна сия велика есть...

Святая Евфимия скрючилась в низеньком кресле, стоявшем подле кровати. В комнате больше никого не было. На ней – ряса, подпоясанная кожаным поясом с серебряной пряжкой, шапочка с вышитым красным крестом, а в руках – веревка с узелками вместо четок. Я занервничала. Как бы юмористично ты ни был настроен, но невозможно равнодушно пройти мимо, увидав такое, – это странное существо больше походило на высушенные мощи святого или мумию какого-нибудь фараона, чем на живого человека...

В этот день Эразмия шила у кого-то на дому, а потому не могла пойти со мной, как мы договаривались вначале. Однако она самым детальным образом проинструктировала меня, что должно делать: опуститься на колени, поцеловать святой руку, преклонить голову, чтобы она могла меня благословить, и не говорить ни слова, пока та сама со мной не заговорит. И я была готова разыграть всю эту комедию и разыграла бы, если бы меня не остановила сама святая. Едва она увидела, как я вхожу, то, как будто бы только меня и ждала (голову даю на отсечение, что ее предупредили с вечера), подняла руку, впила в меня своими маленькими, глубоко посаженными глазками и гласом, исходившим словно бы не из человеческой груди, а из какого-то пересохшего колодца, вострубила: «Стой». Затем перевела дыхание. «Стой! Твое имя начинается на Н... На руке твоей – три венца... Дай мне немного воды...» Не произнося ни слова, я налила из графина, стоявшего на столе, воды в стакан и помогла ей попить. «Спать хочется!» – пробормотала она, когда я вытерла капли, пролившиеся ей на грудь. «Спать

хочется!..» – повторила она. Я повернулась к ней спиной, чтобы поставить стакан на стол, и когда обернулась, то она... нет, правда, она уже вовсю храпела!..

Я решила уйти. Вытащила из сумки пакет с халвой, который принесла специально для нее – шел пост, – и положила на стол. Потом, ступая на цыпочках, вышла во двор, со двора на улицу, вдохнула свежего воздуха, аромата дикой сирени, растущей на другой стороне улицы. Как будто вернулась из Аида на землю. Когда Андонис спросил меня: «Ну, как все прошло?» – «Ну что тебе сказать, – ответила я, – она обнаружила, что мое имя начинается на Н, а потом заснула». Он выглядел удовлетворенным. О «пророчестве» – трех венцах – я даже заикаться не стала. Не самый это подходящий предмет для беседы с Андонисом, человеком, который одной ногой стоит в могиле. Он так слепо верил в провидческий дар своей святой, что тут же подумал бы: «Хм, так я умру, а Нина и в третий раз замуж выскочит!» И пока я, несчастная, всеми правдами и неправдами пытаюсь удержать его на этом свете, ему стукнет в голову еще какая-нибудь дурь и он сойдет в могилу на час раньше назначенного ему срока. Да и, по правде сказать, у меня и мысли не было, что такое возможно и что «пророчество» окажется настоящим. Даже и сейчас я уверена, что это было простое совпадение, ну, или на крайний случай предсказание дельфийского типа. Знаем мы все эти штучки. Наверняка Эразмия рассказала ей все обо мне. А уж когда женщина была замужем два раза, а ее второй муж наполовину парализован, да еще и сердечник, а сама она при этом вполне молода, не нужно быть особым Тиресием, чтобы прозреть будущее. Но так я думаю теперь, когда все уже произошло. В те дни я только посмеялась над безумной идеей, что могу и в третий раз выйти замуж – а что, собственно, еще могли означать эти три венца? – хотя не могу сказать, чтобы на меня это вообще не подействовало. Я начала бояться, что пройдет совсем немного времени и я потеряю его, и утроила свои усилия. Кроме парализованной ноги и сердца, у него еще были проблемы с давлением. Это уж как водится – пришла беда, отворяй ворота. И уж когда человек заболевает, то на него обрушивается все сразу, а, к несчастью, он был таким обжорой, что несмотря на то, что ему была предписана строжайшая диета, тайком прокрадывался к холодильнику и ел все подряд. Давление вместо того, чтобы падать, поднималось, и он чуть было не умирал от удушья. Так что он был вынужден делать себе кровопускания: засосывал себе ножницы в нос и напускал целый таз крови!.. Нога у него по-прежнему была наполовину парализована, но он уже свыкся со своей инвалидностью. Слава богу, хоть из-за этого он не так расстраивался. Брал палочку и хромал себе потихоньку в контору или в кофейню. И с течением времени все чаще в кофейню и все реже в контору, дела в которой, увы, тоже похрамывали. Потому что, если бы дела шли хорошо, Андонис никогда не позволил бы себе так распуститься. Он был не из тех, кто легко поддается телесным недугам. Но обстановка в мире с каждым днем становилась все хуже: война в Китае, война в Абиссинии, война в Испании!.. Все только и судачили о том, что скоро дело дойдет и до всей остальной Европы. И постепенно люди перестали вкладываться в недвижимость. Зачем, говорили они, нам строить дома? Чтобы их разрушили, когда начнутся бомбежки? Люди перестали строить, брат Андониса продолжал его обкрадывать, Эразмия не упускала ни одного случая вытянуть из него побольше на елей, всенощные и на всякую, якобы богоугодную, чепуху. Казалось, вокруг нас плетется какой-то заговор, направленный на то, чтобы разрушить всю нашу жизнь, начавшуюся всего-то шесть-семь лет назад и при таких хороших предзнаменованиях!.. Настолько хороших, что на мгновения мнилось, будто все это будет длиться вечно, а наши поездки в Лутраки, на Эгину и на Порос ничто и никто не сможет отменить!

Месяца через два после того, как я отправилась на знакомство со святой, в нашем доме состоялась знаменитая всенощная, во время которой святую внесли в дом верхом на кресле, чтобы она произнесла нам речь «на семи языках». И еще дней с десять после этого, как раз в тот вечер, когда я с Мариэттой вытряхивала портьеры на террасе, Эразмия притащила к нам в гости киру-Экави, каковое явление, как показали последующие события, было ниспослано

Господом не только для того, чтобы избавить меня от Эразмии, но и попутно привести в действие те механизмы, что спустя годы должны были осуществить «пророчество» святой...

Но кто бы знал? В тот сумеречный день, когда она впервые вошла в мой дом (вообще-то это был уже второй визит, если учесть всенощную как первый), у меня и в мыслях не было, что однажды эта женщина изменит мою судьбу. Мне она показалась довольно милой, и уж во всяком случае она очень сильно отличалась от всей той швали, которую к нам тогда таскала Эразмия. Я пригласила ее заходить почаще с одной-единственной целью – позлить Эразмию. Но мы подружились, и даже наш домашний цербер, Мариэтта, привечала киру-Экави – как видела, что та идет, мигом неслась на кухню и ставила кофе, не дожидаясь, пока я ей об этом скажу. Но кто бы мог подумать, что в один прекрасный день киря-Экави станет моей свекровью!

3

Не хочу выглядеть самодовольной, все-таки в этой жизни нужно быть поскромнее, но что вы хотите, я была не для Андониса. Только вот после всех этих неприятностей с Фотисом я осталась без каких-либо средств к существованию, да еще мама заболела и закрыла ателье, а существовать на скромную пенсию, которую папа получал от университета, было абсолютно невозможно. Да, у нас был дом. Нам не надо было платить арендную плату, но стены не скушаешь, если только не продать их или не заложить. Но я дала клятву не трогать дом ни при каких условиях, пусть даже мы и дойдем до крайней степени нищеты. Мама, которая по доброте душевной столько лет содержала всю свою родню, да еще подкармливала моего горьбратца, который выцганивал у нее все до последнего гроша, так и не сумела ничего отложить на черный день. Да у нас никогда и не было столько, чтобы можно было засунуть в чулок. Единственные ценности – украшения, доставшиеся ей от матери, и их-то мы и начали обгладывать. Но когда ты болеешь, денюжки быстро улечиваются. Драгоценности мы съели на раз, а затем принялись занимать у родственников: у дяди Ираклиса, у дяди Стефаноса и так далее и тому подобное.

Я думала, не найти ли работу, но у меня не было ни малейшей идеи какую. В те времена и помыслить было нельзя, чтобы женщины, во всяком случае женщины нашего круга, работали, да я ничего и не умела, разве что пойти секретаршей или поварихой в какой-нибудь богатый дом. Но я, видишь ли, была несвободна. Кроме мамы и папы, нуждавшихся в няньке, как малые дети, а я не могла полностью доверить их Эразмии, на мне была еще и Принцесса (Мариэтту мы временно отослали назад в деревню). Принцессе было лет пять-шесть. И она уже тогда была неблагодарным созданием, не способным оценить ни одной жертвы, на которые я пошла ради нее. Естественно, я думала о замужестве. Таким же было и мнение родственников. Мы задолжали им кучу денег, так что вынуждены были их уважать. Поэтому несмотря на то, что я была совершенно не в том состоянии, чтобы начать жизнь заново и взвалить себе на шею нового сукина сына, я была вынуждена признать, что они правы. Другого выхода просто не было. И мне начали устраивать смотрины, сначала привели бухгалтера, затем зеленщика, наконец, старика, у которого было три дома, миокардит и никаких детей и родственников. Но я не имела ни малейшего желания выходить за служащего, чтобы жить только на зарплату, или опускаться до торговца и тем паче превращаться в медсестру. Вот уж для этого мне точно не надо было выходить замуж. «Да он старик, долго не протянет, а тебе останутся его дома...» Но если я и была готова выйти замуж по расчету, это не означало, что я была до такой степени циничной, чтобы строить такие чудовищные планы. Мне казалось это одним из смертных грехов, не перед Господом, Создатель подобной ерундой не занимается, но перед самой собой.

Так прошло еще два года, и мы дошли до полного разорения. Дядя Стефанос начал смотреть на меня косо, и мне пришлось занимать у подруг: у жены Касиматиса, у жены Карусоса, даже у Эразмии. Мы и до этого докатились – я брала в долг у Эразмии!.. Мы дважды переза-

кладывали дом, и я отчаялась. Я все время твердила: «Господи, возьми меня отсюда. Пусть прекратится наконец это невыносимое, необъяснимое мучение, я больше так не могу!..»

Вот тогда-то на сцене появился Андонис. Он был вдовцом, и у него было свое хорошо идущее дело. А из нахлебников – одна только мать, и все. Мне его представила дальняя родственница моей мамы, которая жила с ним в одном районе. У Андониса когда-то был свой дом, на проспекте Александры, но когда его жена умерла от лейкемии, он выписал из деревни молоденькую девушку, чтобы та управляла хозяйством, и не прошло и шести месяцев, как она забеременела. Тогда-то я этого не знала, потом уже все стало известно. Как до ее родителей дошли радостные вести, они тотчас примчались из деревни с топорами и чуть было не порубили его на куски (спаси нас, Господи, от маниатов⁵). В общем, его прижали, и он переписал дом на ее имя. Андонис был вынужден на время переселиться к Оборванке, а поскольку он уже привык жить на широкую ногу, да еще так, чтобы жена его со всех сторон облизывала, то начал подумывать о женитьбе. В итоге нас обеих пригласила к себе моя тетя на кофе, и так я с ним встретила первый раз. Когда вернулась домой, упала на кровать лицом в подушку и зарыдала. «Не пойду за него, не пойду! Ни за что на свете не пойду! – кричала я. – Он старый, он деревенщина! Деревенщина! Деревенщина! Деревенщина в кубе! У него мозоли на руках! Он говорит ужасно! Он вообще не умеет разговаривать!» Но в глубине души чувствовала, что не из-за этого я плачу. Я плакала потому, что понимала: если я хочу выйти замуж, то трудно найти более подходящего человека, чем Андонис. Да, у меня есть дом, но он заложен, и мне уже далеко не двадцать, не говоря уже об этом фотисовском отродье, которая висела на мне тяжким грузом и которую он тут же предложил удочерить. Он бы обеспечил ей и образование, и комфортную жизнь. Денег у него тогда было до черта. Ведь он был лучшим и самым известным строительным подрядчиком в Афинах. Едва мы поженились, он не только выкупил все закладные, но еще и потратился на ремонт, который, по совести говоря, пора было сделать еще много лет назад, да заодно и достроил кое-что: сделал новую прачечную на террасе, а старую во дворе превратил в еще одну комнату, разрушил все стены в спальне и увеличил ее, купил электрическую плиту, одну из первых в Греции, выстроил купальню (раньше мы мылись в одном из больших тазов в прачечной), а здесь была настоящая ванная, с плиткой, и зеркалами, и даже биде! В общем, все то, что сейчас Принцессе кажется само собой разумеющимся, и при этом она не упускает ни одной возможности съязвить – и это меня бесит больше всего, – что я убила ее отца, так как он не мог построить мне ванную с биде! Но я уже привыкла к ее словам и не воспринимаю их всерьез. Знаю, что завидует, у меня-то было трое мужей, а вот у нее много только шансов остаться в девках. Иначе я бы ей ответила, о, я очень хорошо знаю, что бы я ей сказала: почему же я все-таки выгнала ее отца и что его убило – я или те мерзости, которые он вытворял!..

Ах, воспоминания, они возвращаются друг за другом! Каждый раз, когда она выводит меня из себя, я вспоминаю все те муки, через которые прошла в этой жизни. Что вспомнить сначала? Историю с Аргирисом, страдания из-за Фотиса, то, сколько я перенесла, пока жив был Андонис со всеми его болезнями и религиозными страстями, или то, насколько стало хуже, когда он умер? Потому что хоть я и не стремлюсь назначить себя самой несчастной женщиной в мире, как это делают некоторые, но нельзя не признать, что и я получила свою долю горьких пилюль в этой жизни. Ну что радости с того, что у меня было три мужа, ну кому от этого счастье, скажите мне? Лучше бы у меня был один, но хороший, чтобы и я пожила спокойной семейной жизнью, как большинство женщин в этом мире. Если бы я только вышла замуж за того, кого любила, за того единственного мужчину, которого я на самом деле любила, – дай ему Бог здоровья, кто знает, жив ли он, умер, понятия не имею! Я ни разу не видела его с

⁵ Маниаты – жители Мани (Пелопонес), считающие себя потомками древних спартанцев и известные чрезвычайной жестокостью. До последнего времени у маниатов сохранялся обычай кровной мести.

тех пор, хотя мы и жили в одном городе, если не считать, конечно, одного случая: как-то во время Оккупации⁶ я шла по улице Эрму, и тут мне показалось, что там, чуть вдали, я увидела его силуэт. Мне показалось, что это он, постаревший, в черном пальто. На мгновение мне захотелось ускорить шаг, догнать его, увидеть его лицо, но, как пишут в романах, ноги меня не слушались. Я испытывала какое-то странное оцепенение во всем теле. Я и хотела, и не хотела его увидеть, и прежде чем я решилась, он свернул в какой-то проулок и исчез. Бедный мой Аргирис и бедная Кифисья! Какие это были годы, какое счастливое, беззаботное время!

Все взрослые тоскуют о райском саде детства. Они называют его раем, даже если это был настоящий ад. Они тоскуют по тому времени, когда жизнь была простой, а мир полон волшебства. Но у меня, кроме этого рая, был и другой, настоящий, осязаемый, такой, каким его описывает Ветхий Завет: с деревьями, птицами, цветами – и змеем! Почти каждую субботу, особенно весной, к нам прибывал папаша Алексис, кучер дяди Маркусиса, с корзиной фруктов, иногда это была клубника, иногда смоквы или тутовые ягоды – в зависимости от времени года, а в обмен на корзину он забирал меня.

У дяди Маркусиса было немало племянниц: дочери тети Бебы, дочери тети Негрепonti и так далее и тому подобное. Теперь почти никого из них нет в живых. Один за другим ушли все, нет больше семьи. Но тогда мы были большой семьей. А изо всех своих племянниц больше всего дядя Маркусис любил меня. «Была бы ты лет на десять постарше, – говаривал он мне то ли в шутку, то ли всерьез, – или я помоложе, как когда-то, я б тебя украл, вот было бы шуму на весь мир!» Дядя Маркусис, самый старший из маминых братьев, остался холостяком. Никто не мог понять почему. В детстве мы слышали, как взрослые намекали на какую-то вдову. Они говорили на птичьем языке, думая, что так мы ничего не поймем: «И-как и-по-и-жи-и-ва-и-ет и-на-и-ша и-вдо-и-ва?» – и лукаво подмигивали друг другу. Ходили слухи, что у него связь с вдовой его старого друга. «Мама, а почему дядя Маркусис не женится?» – спросила я как-то покойницу-маму. «Не твое дело!» – отрезала она. Ни одна из сестер не стремилась женить его, и первая и самая главная среди них – моя мать. У них у всех на примете было его имение в Кифисье.

Имение дяди Маркусиса граничило с владением Лаханасов. Старый Лаханас почти уже врос в свои земли в Кифисье и был из старой крестьянской семьи, но сын его выучился на адвоката, стал модным и вращался в высшем свете. Он даже прошел в парламент и был на короткое время с Драгумидисами, с которыми дядя Маркусис обменивался только сухим «здравствуйте». Так вот у этого младшего Лаханаса было двое детей: дочь того же возраста, что и Динос, и сын на два года старше меня, Аргирис. Чего мы только не вытворяли, на нашем счету числилось столько шалостей, что хватило бы и на десятерых! Самым невинным развлечением в нашей компании было забраться в чужой сад и натаскать фруктов. В наших собственных садах было все, чего только душа ни пожелает. Фрукты гнили в вазах. Но мы предпочитали ворованное: запретный плод, он, как известно, слаще. Мы просто изнемогали без приключений. Ах, и что я была за сорванец, не хуже мальчишки! Жизнь во мне была ключом, уж я-то не спала на ходу, как моя дочь. Мы ездили верхом и доезжали до самой Экали – в то время люди еще держали лошадей – или отправлялись в Кокинару, падали в заросли тимьяна и любовались Афинами.

Аргирис был высоким и белокурым, он совсем не походил на грека. Дядя Маркусис, который терпеть не мог старого Лаханаса, утверждал, что никакие они не греки, а арваниты⁷. Иногда я пытаюсь вспомнить черты его лица и не могу. Столько лет прошло с тех пор! И у меня не осталось ни одной его фотографии. Я отослала ему их обратно – все до единой. Единственное, что я помню, это запах его тела, смешанный с ароматом тимьяна. Каждый раз, когда пахнет тимьяном или я слышу это слово, я вспоминаю Аргириса, и вот мы снова лежим

⁶ Период оккупации Греции немецкими, итальянскими и болгарскими войсками – 1941–1944 годы.

⁷ Греки албанского происхождения.

в зарослях душистой травы, и снова его голова покоится у меня на коленях, и снова он читает мне стихи. Он обожал поэзию:

Как сон, о счастье, нас обманывает снова!
Как будто бы не ошибались мы ни разу!..
В другие берега зовут нас воды цвета голубого,
Напившиеся солнца и довольны... .

Он читал так, как будто бы был уже стар, познал и потерял счастье не один, а тысячу раз. Бедный Аргирис! Может, это твоё «ах» виновато, что я так страдала. Знал бы ты, как дорого заплатила я за свою недоверчивую любовь, как дорого плачу до сих пор!.. Такова жизнь: ей и дела нет до наших смягчающих обстоятельств. Ведь это не только моя ошибка. Я бы попросила вызвать и дядю Маркусиса. Да что я, собственно... Ему тоже не забыли выслать счет. Под этой луной нет никого, кто не оплатил бы свои счета!..

Когда мы окончили гимназию, я хотела поступить в университет на юридический факультет. В школе я всегда была первой в классе по сочинениям и истории. Папа меня поддерживал, он был прогрессивным человеком и верил в эмансипацию женщин. Но мама, которая никогда его не понимала, видела в его вере лишь корыстный расчет. Никто не говорит, что он не был бабником, но он верил в эмансипацию не потому, что ему нравились женщины. «Дай детке поучиться год-два в университете, пусть прочистит мозги!» – уговаривал он ее. Но мама, мама была твердо убеждена в том, что место женщин в доме и единственное их предназначение – брак и воспитание детей. Нет, ты только подумай, не иметь никакой другой цели в жизни, кроме воспитания Марии!..

Я ее не осуждаю. Она сама всю свою жизнь пахала, как мужик, если не больше, вот и пришла к выводу, что брак – самая легкая работа для женщины. Она не хотела, чтобы и я была вынуждена бороться за кусок хлеба. Да и боялась, что, если я буду изучать юриспруденцию, перестану быть женщиной. «Увижу, что станешь суфражисткой, – кричала она каждый раз, когда видела меня с философской книжкой из папиной библиотеки, – так чтоб духу твоего здесь не было!» Папа вынужден был сдаться и посоветовал и мне сделать то же самое. Не хотел ее огорчать. В то время ее здоровье пошатнулось. Из-за большого количества работы и тяжелого переутомления она и так уже была на грани нервного срыва.

У благородного Аргириса всегда была благородная страсть – он хотел стать врачом. Ему нравилась хирургия. Когда мы были детьми, он ловил лягушек и мышей, вспарывал им животы и показывал мне различные органы: сердце, почки, желудок, даже отверстие, через которое лягушки испражняются. Его сестра Надя и Динос не выдерживали этого зрелища. Как видели очередную мышку с кишками наружу, бледнели и сбегали. Но я сидела как прикованная и смотрела с любопытством. Динос, который ябедой родился, ябедой был, бежал к маме и жаловался, а та только грустно качала головой и говорила, что не понимает, как из ее благодатного чрева могла выйти такая скверная девчонка. Но папа, многие годы проработавший заместителем директора зоологического музея и забальзамировавший тысячи животных и птиц, подмигивал мне и говорил: «Не обращай внимания, она ничего в этих делах не понимает».

Но, само собой разумеется, Лаханас, у которого не было другого сына, имел на него совсем другие виды: Аргирис должен был стать адвокатом, как и его отец. Сегодня у детей куда больше свободы в выборе той профессии, что им нравится, если, конечно, они знают, что им нравится, а не подобны моей бессмысленной дочери. Но в те времена у родителей еще было право вето. Аргириса записали на юридический факультет. Эпохе игр пришел конец. Мы больше не воровали фрукты в чужих садах, не носились как сумасшедшие, не ездили верхом (между тем дядя Маркусис продал трех лошадей и купил автомобиль) и не обнимались прямо на дороге – и у камней бывают глаза. Как-то вечером приятельница моей матери увидела нас

в Заппионе, понеслась к ней и дала полный отчет о нашей деятельности. Мама, которая и понятия не имела, что я встречалась с Аргирисом и в Афинах тоже, закатила чудовищную сцену. «Ах, вот почему нам так приспичило стать адвокатшей! – кричала она с торжеством. – Уж я-то предупредила твоего отца, что здесь дело нечисто, говорила ему, а он не верил и имел наглость заявить, что я слишком подозрительна и хитра, как все греки!..» С этого дня моей свободе пришел конец. Да и Аргирис тоже уже не принадлежал себе, как раньше. Теперь мы могли видеться только в перерывах между парами – университет был рядом с нашим домом. Мама больше не пускала меня в Кифисью так часто, как раньше. Дядя Маркусис вздыхал: «Ты меня совсем не любишь, ты меня покинула!» Но, видимо, однажды он все-таки спросил маму, почему меня больше не пускают в Кифисью, и та рассказала ему про любовную идиллию. Точно не знаю, как все это вышло. Знаю только, что однажды он пришел к нам пообедать (с тех пор как он купил автомобиль, мы видели его гораздо чаще, чем раньше), а после еды увлек отца и заперся с ним в гостиной. Предчувствия никогда меня не обманывали. Я знала, что они говорят обо мне и Аргирисе, и сердце мое разрывалось от тревоги. Я знала, что дядя Маркусис не выносит Лаханасов, но доверяла папиной справедливости. Я, конечно, ожидала обычных возражений, но и предположить не могла, что кончится тем, что он вызовет меня в гостиную и с непривычно жестким видом объявит, что впредь все встречи с Аргирисом под запретом. Я зарыдала и пригрозила, что наложу на себя руки. Я твердила, что он должен объяснить причину запрета. «Я уже не ребенок, – проговорила я, – объясни же мне наконец, в чем дело». – «Не могу, – с трудом ответил отец, – женщины в этом ничего не понимают». Я вышла из себя. «Так вот каковы твои прогрессивные взгляды», – процедила я. «Поговорим об этом в другой раз», – еле выговорил он, встал и вышел из комнаты.

Другого раза не понадобилось. Я все узнала от мамы. Она рассказала мне об этом с такой жестокостью, которую я смогла простить лишь потому, что знаю, как дорого она заплатила за это своим же собственным сыном. Не рой другому яму... «Хорош мне тут обмороки разводить, – сказала она, – дело обстоит так-то и так-то». Я смотрела на нее в оцепенении, будто меня ударили. Я готова была представить все что угодно, кроме этого. Я отчаянно рыдала, настолько я была потрясена, но потом начала думать: да правда ли это? И решила встретиться с Аргирисом и поговорить. (Обычно мы встречались с ним перед Академией.) Но в то самое мгновение, когда он пришел, в эту самую секунду я была настолько взволнованна, что меня не хватило на деликатное изложение неделикатных обстоятельств. Без лишних околичностей я выпалила, что дядя Маркусис нанял верного человека проследить за ним и выяснил, что у него была связь с одним из...

Я не успела закончить фразу. Увидела, что он краснеет, и поняла: он знает, о чем я. Я смотрела на него безмолвно, моля взглядом, чтобы он сказал, что это ложь. Даже и сегодня я задаюсь вопросом, что из тех обвинений было правдой, а что нет. Человек невинный пожал бы плечами или, наоборот, впал в бешенство, закричал бы, что на него клеветают. Он бы сказал мне, что я сошла с ума, если поверила в это, он бы начал меня обнимать и целовать. Это был единственный способ закрыть мне рот.

Но Аргирис покраснел, потом побледнел, посмотрел мне пристально в глаза – никогда я не смогу забыть этот взгляд, никогда, пока я жива, – сунул руки в карманы, встал и ушел, не произнеся ни слова. А я осталась одна под статуей Платона, онемев от горя и моля Бога о том, чтобы земля разверзлась и поглотила меня.

После этого я никогда больше не ездила в Кифисью. Не для того, чтобы не видеть Аргириса, – напротив, я ходила за ним по пятам в поисках встречи, но он избегал меня, – нет, я просто не хотела видеть дядю Маркусиса. Вот от кого меня тошнило. Мама ворчала, что я выбрасываю на ветер состояние и что он все оставит дочерям тети Бебы. Но я была непреклонна. Я больше ни разу не заговорила с ним. К тому же, как показало время, в деле с его богатством было много шума из ничего. Однажды, отправившись в Сунион, дядя Маркусис

попал в аварию, травмы вызвали внутреннее кровотечение, и он умер, а когда было зачитано его завещание, все с удивлением обнаружили, что имение заложено, знаменитые акции, о которых постоянно талдычила мама, всего лишь акции «Товарищества исключительно выгодных дел» и что немногие наличные и украшения он оставил вдове – чтоб костям его никогда не видеть покоя! Если бы не он, сегодня я была бы госпожой Лахана, богатой и счастливой, и – вот в это я твердо верю – замужем за человеком, которого любила, и – прости меня, Господи, что я говорю такие вещи, – но вряд ли бы я породила эту Медузу!

4

А позже в моду вошел Фалиро, Новый, а не Старый, и было в нем все не так, как сегодня, теперь-то в него свозят отбросы со всех Афин, и там стоит такая вонь, что, не зажав нос, по улице не пройти, и никто больше не живет в его очаровательных старинных домах, и никто больше не ходит в его театры, и посетители покинули его кофейни – догорела прекрасная эпоха прежних Афин! Там прошла наша юность. Ах, какие там бывали люди, какие оркестры играли!.. Казино, пляжи, сначала отдельные, девочки налево, мальчики направо, а потом и общие. Мужчины отправлялись в Фалиро не за купанием, но только ради возможности поглазеть на женские ножки.

Мы туда ездили только по субботам. У папы были свои резоны возить нас в Фалиро. Бедный папа!.. Под самой благородной внешностью в мире скрывались две тайные страсти, тем более сильные, что принципы не позволяли ему удовлетворять их так, как того желало бы его сердце: карты и женщины. И с возрастом все больше карт, все меньше женщин, хотя сердцем он всегда был молод. «Ах, дорогой Стефанос, теперь, когда перед нами разлилось море йогурта, мы потеряли наши ложки!..» И все-таки мне до сих пор кажется, что папины любовницы и все приключения с ними были не научно установленным фактом, но скорее порождениями буйной фантазии моей мамы, страшно его ревновавшей. Никто так и не смог сказать с окончательной прозрачной достоверностью, что у него была связь с той или иной женщиной. Но если в этом деле у него были все основания вести себя осторожно, в том, что касается карт, он не слишком-то прятался. Отводил нас в кафе, заказывал мороженое и лимонад, платил, а потом под предлогом отлучки в уборную сбегал в казино. Все знали, куда он направляется, но все делали вид, что не понимают. Мама начинала болтать со знакомыми дамами. Обсуждали, что надето на той, а что на другой. Мы тоже исчезали: Динос шел с двумя своими друзьями – как раз теми, что и довели его до беды, – к купальням, где он встречался с какими-то подозрительными личностями. Что там было, что происходило, одному только Богу ведомо. Я же брала под ручку жен Касиматиса и Карусоса, и мы прогуливались, нарезаая круги, втроем, или же из-за соседних столиков к нам подходили молодые люди, сыновья наших знакомых, и приглашали потанцевать. В то время на самом пике моды было аргентинское танго – Рамона, ты так далеко, Рамона была далеко, в воде играли отражения прибрежных огней, ветер Фалирона кружил голову, и жизнь была прекрасна!

Так я познакомилась с Фотисом. Он был вторым помощником капитана на торговом корабле. Золотые нашивки на кителе и умение флиртовать делали его не красивее, чем он был (после истории с Аргирисом я уже на каждого красивого мужчину смотрела с подозрением), но более мужественным. Он не был так высок, как Аргирис. Скорее среднего роста, красавец брюнет с голубыми глазами. И в какого дьявола пошла моя дочь, страшная как смертный грех, ума не приложу. Мы поладили. Он пришел к нам и попросил моей руки. И произошло то, что обычно происходит в таких случаях. Если бы я сказала, что люблю его, это было бы неправдой. После случая с Аргирисом ни один мужчина не вызывал у меня того чувства нежности, что прежде. Но мама брюзжала, что я останусь старой девой. Подружки сходили по нему с ума

и считали, что я выиграла миллион в лотерее. Мне же просто льстило, что всем прочим он предпочел меня.

Несмотря на все это, я, может быть, так и не решилась бы выйти за него, если бы все мои не встали на дыбы. Из одного только упрямства я настояла на своем. С меня хватило их «помощи» в случае с Аргирисом, и я не собиралась дать им шанс испортить мою жизнь во второй раз. Мне было не восемнадцать. Двадцать пять⁸. И я уперлась: «Либо Фотис, либо никто!» (Мама, которую ни при каких условиях нельзя было назвать благородным человеком, не упускала ни одного случая напомнить мне об этом, когда произошло все, что произошло.) Было решено, что он отправится в то путешествие, в которое и собирался, – в Индию и Японию, а уж потом мы поженимся, если, конечно, к моменту его возвращения страсть не угаснет и необходимость в браке не отпадет сама собой.

Не отпала. Поженились. Был июль. На третий вечер после свадьбы пришла невыносимая жара. Простыни и подушки от пота промокали так, что хоть выжимай. В час ночи я встала и пошла в прачечную облиться тазом-другим холодной воды, чтобы хоть как-то освежиться. Помогло, но ненадолго. Как будто одной жары было мало, в дело вступили комары, не было никакого спасения от этих маленьких кровопийц. Два раза я вставала и брызгала по сторонам из флакончика, но их ничем не проймешь. Ззз-ззз, они впивались в тебя не хуже вампиров и высасывали всю твою кровь! Около двух, скорее измученная жарой и усталостью, чем сонная, я услышала, как встает Фотис. «Пойду посплю на террасе⁹», – проговорил он. Я пробормотала невнятное «угу» и снова закрыла глаза. Но вскоре окончательно проснулась, и мой мозг прояснился. «А я-то чего не пойду и не лягу в прохладе?» – подумала я. На террасе всегда валялось два-три матраса. Летом Динос спал только на воздухе, а не в своей комнате. Но мне это не нравилось, все из-за этого проклятого солнца, которое будило тебя в шесть утра, и надо было снова вставать и плестись вниз добирать оставшуюся порцию сна, а иначе так и будешь зевать весь день. Я сунула подушку под мышку, прихватила простыню и покрывало. Босая, я поднималась совершенно бесшумно – потому и застала их в позе, которая всякий раз, когда она снова всплывает в моей памяти, мгновенно вызывает у меня приступ тошноты. Не говоря ни слова, я спустилась вниз так же бесшумно, как поднялась, упала на кровать и проплакала всю ночь. «Господи, неужели все мужчины такие мерзавцы?» – вопрошала я снова и снова. Мне, разумеется, никто не ответил. Если бы я не прошла через это тогда, с Аргирисом, не знаю, что бы я почувствовала и как себя повела. Но то, что я претерпела за все эти годы, в страдании, не зная слов, превратило этот новый эпизод в чудовищную и окончательную катастрофу. «Да неужели же всем им, – задыхаясь, рыдала я, вцепившись в подушку зубами, чтобы удержаться от крика, – хватается любой дырки, и такой тоже, и она им сойдет за все что угодно? И это мой брат, чудовище, да как он мог?..»

Чем больше эти мысли плавались в моем воспаленном мозгу, тем больше я увязала в безумии и на мгновение решила покончить с собой. Одна только мысль, что утром мне придется столкнуться с ними, смотреть им в глаза, была невыносимой. «Я не хочу жить», – бормотала я. Всего-то и нужно, что тихонько дойти до папиной комнаты и взять веронал из комода. Но у меня не было сил и на то, чтобы подняться с кровати. Мое тело и воля были парализованы. То, что сделали эти двое, казалось настолько чудовищным, что на мгновения меня осеняла спасительная мысль, что это был всего лишь кошмарный сон, что это неправда, я не поднималась на террасу, я видела все это во сне. Затем реальность возвращалась ко мне снова и снова с беспощадной неотвратимостью, и снова и снова мое сердце пронзали тысячи ножей.

⁸ В этом месте Тахцис делает ошибку. В первой главе, рассуждая о первом браке, Нина указывает другой возраст: 27 лет. Эта ошибка не была исправлена в последующих изданиях.

⁹ Террасой в Греции называется плоская крыша, на которой обустраивали еще один – открытый – этаж-веранду.

К тому моменту, когда Господь ниспослал милосердную зарю, я была живым трупом. Я чувствовала себя так, как если бы в доме был покойник, как если бы кто-нибудь умер ночью, уже прошли первые слезы, и ты из последних сил стараешься побороть сон и усталость, потому что сон кажется тебе смертным грехом, ведь ты только что потерял близкого человека, но в конце концов не выдерживаешь, падаешь на диван – так было и со мной, когда мы потеряли дорогого папу, – и забываешься сном, таким, который не только не освежает и не бодрит, но, напротив, терзает тебя еще больше, когда, не успев открыть глаза с первым же проблеском утра, тут же вспоминаешь, что его больше нет, и твердишь себе: «Я не увижу его сегодня, и никогда больше не увидит мне, как он проходит мимо, не услышать его, он мертв, мертв!..» И свет дня кажется тебе черным трауром ночи, а жизнь – невыносимой цепью мрачных дней утра.

Едва отец увидел меня утром, бледную, с красными глазами, в растерзанных чувствах, сразу понял: что-то случилось. Он посмотрел на меня вопросительно, нахмутив брови, так, как он всегда это делал. Ждал, пока я сама заговорю. Он в отличие от мамы не был любителем разразиться криками на весь квартал. Я притворилась, что не понимаю. Но стоило ему увидеть виноватый вид Фотиса и Диноса, он начал прозревать. Ему не нужно было знать Фотиса, он знал своего сына. Его уже дважды вызывали в гимназию и предупреждали, что за Диносом нужно смотреть в оба. Как-то его поймали в туалете с одноклассниками. Папа не был идиотом. Он понял. Я, разумеется, все отрицала. «Да все со мной в порядке! – говорила я. – Что с тобой, папа, что ты на меня так смотришь? У меня просто болела поясница, и я всю ночь не сомкнула глаз». И дала ему понять, что все дело как бы в женских делах и нечего ему вмешиваться. Когда же поняла, что он на это не купится, сделала вид, будто бы рассказываю ему всю правду: что я поругалась с Фотисом, но, наверное, ничего серьезного, наверное, мы помиримся. Папа понимал, что я лгу. Свою дочь он знал не хуже, чем сына. А потому начал тайные перешептывания с мамой. Вслед за чем вернулся в мою комнату и прикрыл за собой дверь: «Я требую, чтобы ты рассказала, в чем дело. Это то, о чем я думаю?» Как и следовало ожидать, я разрыдалась. И после этого началось такое, что оказалось куда как хуже ночного происшествия, такое, при воспоминании о чем мое сердце каждый раз надрывается – крак! – как говорила кира-Экави, то самое сердце, которое, несмотря на все перенесенные удары, все не хочет разорваться раз и навсегда, чтобы я могла уже, наконец, обрести свой покой.

С этого дня начинается история падения Диноса, который так быстро сгубил свою глупую головушку. Он не был ни первым, ни последним молодым человеком с такими наклонностями. Если я не знала этого тогда, то теперь мне это доподлинно известно. Вряд ли бы он когда-нибудь изменился, но он никогда бы не докатился до того, до чего он докатился, если бы папа не выгнал его из дома. И, может быть, мама не заболела бы раком, если бы...

Что же до отца моей красавицы дочери, вначале он пытался отрицать все. Даже имел наглость притвориться разъяренным. Разыграл пьесу об оскорбленной невинности. Потом признался, но все свалил на Диноса. Вот такой малодушной скотиной был тот самый человек, память о котором моя дочь хранит так, как если бы он был Богом во плоти. Все потому, что я не опускаюсь до того, чтобы сесть и объяснить ей, кем он был на самом деле. Пусть пребывает в своих иллюзиях. Нет худшего наказания, чем это. Да, таким он был храбрым портняжкой. Но стоило ему понять, что никакие его оправдания не сработают, что мы знаем: это он поднялся на террасу, что, следовательно, именно он разбудил Диноса, тогда он совершил еще большую гнусность: он заявил, будто был вынужден отыметь моего брата, так как я была холодна, как лед, и слишком, видите ли, узкой в известном месте, чтобы он смог сделать меня женщиной, и это чуть не свело его с ума. Так и сказал. Слова, которые, естественно, были ложью, которые, к сожалению, были ложью. Не так уж я была и холодна, да даже если бы и была, так этому мерзавцу следовало бы знать, что все неопытные женщины, особенно если они достигли определенного возраста, так и не познав мужчины, всегда поначалу холодны, и от него зависело научить меня всему. Но научить с обходительностью: шаг за шагом. А не повести себя со мной

так, будто я была какой-нибудь из тех проституток, которых он имел в портовых борделях, и не требовать от меня вещей, которые порядочные мужчины не требуют от своих жен, даже если они женаты долгие годы! Папа впал в неистовство. Первый раз в жизни я увидела его в таком состоянии. Он ринулся за пистолетом, а мама и Эразмия повисли на нем, чтобы не произошло непоправимое. А этому подонку пришлось собрать свой чемодан и валить. Так и так его корабль должен был отплыть через неделю. Он исчез, и не было о нем ни слуху ни духу одиннадцать месяцев.

За это время у меня родилась Медуза, которая в течение двадцати четырех лет достойно продолжает дело, начатое ее отцом. Вы спросите: а чего же ты, голубушка, не пошла и не сделала аборт? Хотела ребенка? Я не хотела ребенка и знала это. Но слово за слово моя мать и тетя Катинго – грех-то какой, Нина, что ж дитя-то невинное – это Мария-то невинное дитя! – отвечать будет за то, что ее отец мерзавец, разве ж это причина, а вот все, кто сделали аборт, заболели всеми известными болезнями – в общем, слово за слово, и они уговорили меня оставить ребенка. Когда он вернулся из плавания, то и носа не смел показать в наш дом, хотя и знал, что я получала все деньги, которые он нам отправлял (а что делать, я тогда нуждалась), а вместо себя отправил к нам тетку; чтобы она прозондировала почву. Захотел, видите ли, моего дозволения взглянуть на ребенка. «На какого такого ребенка? – спросила я его тетку. – Не он ли сказал, что не смог сделать меня женщиной? Так каких детей он теперь хочет повидать?» Через три дня появилась его мать. Она была вполне симпатичной женщиной и сына своего осуждала больше всех нас, вместе взятых, пришла, упала мне в ноги, заплакала и сказала: «Прими его обратно. Ты же знаешь, так и так он больше в плавании будет, чем дома». Кончилось тем, что я решила уступить. И пришел он к нам, нагруженный подарками для всех домочадцев, и все мы сделали вид, что ничего не было. Даже папа вел себя с ним вежливо, хотя и избегал излишней близости. К тому же, как и обещала моя свекровь, он и в самом деле большую часть времени проводил в поездках. Раз в месяц присылал чек. Когда возвращался, каждому в доме привозил подарки. Проводил с нами один-два месяца и снова уезжал. Так мы прожили лет шесть.

И вдруг у него начались какие-то странные головокружения. Ни один врач, ни в Греции, ни за границей, не мог объяснить, что с ним происходит. Ему пришлось завязать с поездками. После недолгих поисков ему дали место в конторе компании в Пирее. Ему было невыгодно увольняться так быстро. Он еще не успел выслужить пенсию. Но головокружения продолжались, и все сильнее, чем прежде. И вдруг в одно прекрасное утро загадочная болезнь прояснилась: озена! От его носа несло, как от выгребной ямы. К нему невозможно было подойти, я уж не говорю о том, чтобы спать с ним. Он начал выливать на себя по десять флаконов одеколона, как женщина. Пока он разъезжал по границам и был здоров, я закрывала глаза на все и терпела его. Но теперь, когда он день-деньской торчал дома, да еще с такой заразой, я чувствовала, что теряю терпение. Каким бы добрым сердцем, каким бы чувством долга ни обладала женщина, ни одна не продержится долго с таким мужем подле себя. Если бы я его любила, все бы перенесла. Но после всего, что между нами было, какие чувства я могла к нему испытывать? И пошли склоки и грызня, скандалы, которые раз от разу становились все страшнее и страшнее, так как в них тут же совали свой нос мама с Эразмией, и они, признаемся без лишних церемоний, занимали только его сторону. Мы тут же переходили на личности, вспоминали давно прошедшие дела и обменивались ядовитыми замечаниями. Однажды он мне заявил, что я столько лет терпела его ради одной-единственной цели – чтобы он взвалил на себя непосильную ношу и кормил моего отца-картежника. Этого было достаточно. Я взбесилась. Приказала ему собрать свое барахло и убраться подальше. Думая, что ему удастся меня шантажировать – такой вот склочной бабой он был, – он собрал не только свои вещи, но и все то, что подарил, начиная со времен нашей помолвки, погрузил мешки в такси и был таков. Но, поняв, что, хоть у меня и гроша ломаного за душой не осталось, а я все равно не принимаю его обратно и непреклонна в своем решении, он начал угрожать, что убьет меня. «Не думаю, что у него хватит мужества

на это, так ему и передай, – рявкнула я на его тетку. – Чтобы кого-нибудь убить, для начала неплохо бы стать мужчиной!» И я поручила своему адвокату начать бракоразводный процесс.

Мне не понадобилось живописать все его гнусности, чтобы получить развод. Одной озены хватило с лишком. Тем временем, чтобы справиться с расходами на дом и оплатить лечение мамы, я заняла денег у дяди Стефаноса. Но не слишком печалилась по этому поводу. Чего ради? Максимум год, и у меня будет отличное содержание. Когда Фотис увидел, что суд приближается, а у него нет ни единого шанса его выиграть, он помчался к врачу и потребовал, чтобы тот любым способом вскрыл ему свищ. Через неделю гной попал в кровь, началось заражение, и Фотис умер. И вместо того чтобы получить содержание, мне пришлось заниматься еще, и еще, и еще – и все для того, чтобы прокормить мою дочь! Ах, чего только я не перенесла за эти два года, пока не вышла замуж за Андониса, об этом только я сама и знаю! Стоит ли говорить, что, как только я вышла замуж, все изменилось. Я вернула все, что была должна дяде Ираклису и дяде Стефаносу, выплатила обе закладные на дом, мы снова выписали Мариэтту из деревни, сделали ремонт, купили новую мебель, поместили Принцессу в частную школу, несчастный Андонис даже купил ей пианино за тридцать пять тысяч драхм, так она утомила его своим брюзжанием, что у всех ее одноклассниц есть дома пианино и только у нее, бедняжки, нет. Не говоря уже о тех деньгах, которые этот святой человек потратил на все болезни папы и мамы. Вот почему я согласилась взять Андониса в мужья, пусть даже он был старше меня на двадцать лет. И вовсе не для постели, как недавно посмела заявить эта сучка, когда я сказала ей, что пожертвовала собой ради семьи. Андонис для постели! Господи, спаси и помилуй, в жизни не слышала ничего смешнее!

5

В тридцать четвертом не стало мамы. Она угаšla безмолвно, тихо, не столько от рака, сколько от непреходящей тоски и горя из-за падения Диноса. Динос был ее раком. Она умерла, испытав такие страшные страдания, каких мне больше никогда не приходилось встречать – ни до, ни после ее смерти. Иногда меня мучает ужасное предчувствие, что и я умру от этой же болезни. В том же году, не прошло и месяца, как я сняла траур по маме, мне пришлось облачиться в него снова: умер папа. Он не выдержал ее ухода. Он любил ее, пусть даже никак этого не выказывал, обожал ее и только ее, хотя, как говорится, и увивался вокруг каждой юбки.

Мужчины – странные созданыя, они устроены иначе, не так, как мы, женщины. Когда женщина любит мужчину, она отдается ему душой и телом, поклоняется ему, как своему боже-ству, ей и в голову не приходит, что в то же самое время она может переспать с каким-нибудь другим мужчиной. Мужчины – другие. Они могут любить жену, восхищаться ею и одновременно крутить романы с десятком других женщин. Они полны любопытства, все будоражит их фантазию. Такова горькая правда, хотя, как я есть женщина, а не мужчина, мне трудно влезть в их шкуру и осознать это не своим, мужским сердцем. Я понимаю это только разумом, но в глубине души все они кажутся мне чудовищами! Бедный папа!.. У него была светлая душа. Он не просто был воспитанным человеком, какими считается большинство людей. Он был человеком, таким же, как и кира-Экави. Всем, что я понимаю про эту жизнь, я обязана ему и ей.

Вскоре мы потеряли дядю Ираклиса, потом тетю Панайоту, и, наконец, умер Динос. Если я оглядываюсь на эти три-четыре года моей жизни, то не вижу там вообще ничего, только болезни, похороны и панихиды. Но, как ни странно, эти же годы, вплоть до того злосчастного дня, когда заболел Андонис и начался новый этап мучений, были, возможно, лучшими в моей жизни: во всяком случае, они были самыми сытными, такими, что я была избавлена от вечной неизбывной тревоги, что до той поры крепко-накрепко сжимала меня в своих объятиях, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть, даже тогда, когда для беспокойства не было никаких оснований. В те времена не было случая, чтобы летом в выходные мы не отправились в какую-нибудь

поездку. А вечеринки и пиры, которые мы закатывали зимой, без повода, просто так, потому что левая пятка зачесалась, помнят до сих пор. Бывает, столкнусь случайно с какими-нибудь нашими знакомыми тех лет – повезло же им, голубчикам, что подумать больше не о чем, – и всякий раз они вздыхают: «Ах, Нина, а помнишь, каких поросят да индеек мы у тебя едали?»

Мои наряды теперь шила не Эразмия, я откопала первоклассную модистку, работавшую в одном из лучших ателье на улице Эрму. Андонис, упокой Господь его душу, купил мне у Систовариса не только две лисьи горжетки, но и потрясающее манто из настоящего каракуля с капюшоном, три персидских ковра, их спустя несколько лет в черные дни Оккупации я продала за несколько банок масла, и мы не только снова выписали Мариэтту из деревни, но взяли и еще одну служанку – она занималась стиркой и натиркой паркета, а я завела себе еще и личную парикмахершу, которая приходила раз в неделю, а также перед всеми праздниками и вечеринками, чтобы уложить мне волосы и сделать маникюр. Все это великолепие кира-Экави уже не застала. Со мной кира-Экави познакомилась в пору тощих коров. Болезнь Андониса подрезала нам крылышки. И мало того, что не было больше подрядов, кормивших нас прежде, – уж в этом-то не Андонис виноват, а все только напряженная международная обстановка и страх перед близящейся войной, охвативший все общество, – из-за своей болезни Андонис был вынужден все больше и больше дел перекладывать на своего жулика кузена, который обдирал его как липку, – и мало было этого, так ровно в тот момент, когда нам нужно было уже и на спичках экономить, чтобы не оказаться на улице, без крыши над головой и куска хлеба, вот именно в этот момент Андонису приспичило изобразить из себя Льва Толстого: под мудрым руководством Эразмии он швырял на ветер фантастические суммы, благодетельствуя все больше недостойным, чем неимущим, закупая мирру с елеем да заказывая всеобщие. Я была вынуждена сократить мои личные расходы до минимума, чтобы хоть как-то уравновесить наши траты. Но, к счастью, Бог смилостивился надо мной. То ли сам Андонис прозрел-таки, и понял свою ошибку, и решил вышвырнуть к чертям собачьим Эразмию и всю ее шайку, то ли тому поспособствовало благотворное влияние кира-Экави, которая частенько стала к нам захаживать в то время, но суть в том, что после знаменитой всеобщей, во время которой святая Евфимия впала в транс и произнесла речь, как предполагается, на семи языках, все больше мертвых – ассирийском, вавилонском, арамейском и так далее и тому подобное, – у меня вдруг появилось приятное ощущение, будто что-то в нашей жизни изменилось к лучшему. В тот день, когда она вместе с Эразмией пришла к нам в дом, как раз в тот самый полдень, когда мы с Мариэттой, готовясь к празднику, на террасе вытряхивали портьеры, кира-Экави пришла, чтобы поблагодарить меня за гостеприимство. Мне это показалось забавным. Я не только ее не звала, но даже и не заметила среди сброда, вломившегося к нам в дом тем вечером. Примечательно, что в этот ее визит мы и полсловом не обмолвились о всеобщей. Беседа все больше вертелась вокруг волшебства и гадания на кофейной гуще. Эразмия – совершенно очевидно, впервые – слушала, как она болтает о колдуньях, и все больше злилась. «Не знала, что ты веришь в этакую чушь, – бросила она ей сурово. – Гаданье на кофейной гуще и карты – орудия дьявола». Кира-Экави на секунду растерялась, однако быстро нашлась и ответила: «Ну, сатана там или не сатана, моя дорогая Эразмия, а иной раз карты правду говорят... Что же до волшебства, так, извини, в это и наша церковь верит, иначе бы против магии не читались заклятия!..» Не иначе как по какому-то волшебству я сдержалась и не покатила со смеху. Ну, царствие небесное тебе точно обеспечено, добрая женщина, подумала я, тогда я даже имени ее не знала. Что ж, Эразмия, нашлась и на тебя управа!

И тут часы начали отбивать семь. Кира-Экави подскочила как пружина. «По, по, по, батюшки мои! – запричитала она (с тех пор это “по, по, по, батюшки мои” мне предстояло слышать сотни, тысячи раз). – По, по, по! Семь часов! Мой сын меня зарежет! Сиж тут себе, бестолковая, и болтаю о волшебстве. А он сегодня ночью дежурит у себя в газете. И ни за что ведь сам не проснется, пусть хоть все пушки Ликавитоса над ухом стреляют. Ведь всякий же раз

нужно его расталкивать, стаскивать с него одеяло, умолять его на коленях, чтобы он оказал мне величайшую любезность и проснулся...» Ага, вот как она его разбаловала! То-то ему теперь не по нраву, когда я не облизываю его со всех сторон. «И нечего тут орать на меня, – говорю я ему иной раз, когда он раздражается воплями, – я тебе не мамка, чтобы трястись над тобой, как над маленьким божком, так что давай отвыкай от сладкой жизни под маминым крылом!»

Сейчас, спустя пятнадцать лет, я вспоминаю тот вечер и думаю: до чего все-таки странная это штука – жизнь, и что мы для нее, как не самые настоящие игрушки для секундной забавы. Ну кто бы мог подумать, что, приглашая новую приятельницу заходить почаще – и это только для того, чтобы насолить Эразмии, – я открыла, как говорится, новую страницу в истории моей жизни! «Ну что же, дорожку к нам теперь ты знаешь, – сказала я ей на прощанье, – не жди особых приглашений. Приходи в любое время на кофе». Когда она ушла, я спросила Эразмию: «Как, ты говоришь, ее зовут?» – «Экави», – сухо отозвалась та. «Ну наконец-то ты привела в мой дом нормального человека!» Но Эразмия уже заподозрила неладное, а потому промолчала.

С того дня казалось, будто распахнулись окна в мрачном доме нашей жизни и в них хлынул яркий свет. Сначала кира-Экави редко к нам заглядывала. Но скоро мы стали друзьями не разлей вода. Она раскрывала мне свои тайны и рассказывала свои истории. Жила она по соседству, всего в двух переулках от нас. Быстро-быстро переделывала она домашние дела, после чего отправлялась к нам, где и проводила все свое время. И так как она была не из тех, кому, как моей неблагодарной дочери, по душе весь день сидеть сложа руки, то говорила мне: «Ох, устала я, Нина, сидеть без толку, нет ли у тебя какого шитья, чтобы я его тебе доделала?» Кира-Экави, как и покойница-мама, была портнихой. Может быть, даже лучше, чем мама. Она окидывала тебя взглядом сверху донизу и, не снимая мерок, брала в руки ножницы, ткань и резала. И почти никогда не смотрела модные журналы, а уж если и заглядывала в них, то никогда не переносила модели тюtelька в тюtelьку. Только заимствовала идеи: от одной модели рукава, от другой – воротник и так далее и тому подобное, и в итоге у нее выходило так, что любо-дорого глядеть. Я доставала из шкафа старые платья, которые собиралась отдать, полагая, что с ними уже ничего не сделаешь, но она отрезала здесь, подшивала там, и они выходили лучше новых. Или штопала носки Андониса, который, конечно же, с первой же встречи положил на нее глаз. Когда он возвращался домой и заставал ее у нас, прямо светлел лицом. «Я тебя поймал! – говаривал он ей, – теперь не сбежишь! Пойдем-ка сыграем в пинакль!» Он снова вернулся к своим старым привычкам. Брал колоду, вскрывал ее гармошкой, как заправский шулер, и раскладывал. А поскольку он выигрывал в девяти случаях из десяти, то за это обожал ее всеми фибрами своей души. Смотрел, как на ее лице отображается непередаваемо жалобная гримаска кроткой христианской мученицы, и раздражался довольным смехом. Когда били часы, кира-Экави бросала партию на середине и подсказывала кверху. «По, по, по, батюшки мои! Час дня! Сын придет с работы, ребенок из школы, и не найдут в доме ни крошки (Поликсена в полдень ела на работе). Побегу хоть макаронную запеканку сготовлю, все сытно...» Но Андонис обнимал ее за плечи и силой возвращал на место. «Никуда ты не пойдешь, я тебя не отпускаю! Хочешь сбежать от меня, потому что проигрываешь, э? Эй, Мариэтта, слышь меня!» – кричал он Мариэтте. «Ну че те там еще?!» – отзывалась та. Точно как неотесанные деревенщины. Они так в шутку друг с другом общались. «Отнеси-ка, красотуля, еды в дом кира-Экави для ее сына. Дай-ка ей свой ключ, – поворачивался он к кира-Экави, – а ты повесь на дверь записку для мальчика, пусть идет сюда, как только вернется из школы!» И садился и сам писал записку. «Ну уж нет, ребятки, – протестовала кира-Экави, – что же это за дела такие творятся? Вы что это, взяли меня на содержание? Да вы знаете, что мой сын меня зарежет, если вернется и снова не найдет меня дома?..» Однако на следующий день она приходила, жива-живешенька, и говорила: «А что я тебе скажу! Мой сын просто помешался на твоей мусаке! Да что это за загадочная Нина такая, дорогая мамаша, – говорит он мне, – которая готовит такую прекрасную мусаку?» – «Скажи ему, пусть и он придет как-нибудь, пообедает с нами, познакомится

с Андонисом», – предложила я ей однажды. Она вдруг стала похожа на испуганного ребенка: «Смеешься? Ты не знаешь моего сына. Ты не смотри, что я так опустилась, не слежу за собой и гроша ломаного за все эти церемонии не дам. Он-то по-прежнему вхож в тот мир, в котором вырос. Если только он узнает, что я штопаю носки Андонису, – все, баста, не видать мне больше твоей гостиной, Нина, как своих ушей...»

Я пыталась представить его по ее рассказам. Но думала об этом человеке не больше и не меньше, чем о любом другом, о ком мы слышим, но которого ни разу не видели. Мне он казался высоким, стройным и, разумеется, не лысым. Мне никогда не нравились лысые мужчины. С давних пор я находила их какими-то отталкивающими.

Мало-помалу я узнала о ее жизни все. Не думаю, что на свете так уж много женщин, которые были бы специалистами в семейной истории своего мужа. Когда мы с Тодоросом поженились, мне казалось, что я вышла замуж за героя какого-то романа, который читала и перечитывала много лет подряд. Его дед был действующим археологом. «Что значит действующим?» – спрашивала я кире-Экави. «А вот что: он ударяет по земле палкой и говорит: “Здесь копайте”. И копали, и находили человеческие скелеты и горшки с золотыми монетами...»

Если судить по фотографии, он был красавцем-мужчиной. Но ее мать, кира-Пиги, не то чтобы была уродиной, но и красавицей ее тоже не назовешь. «И что же это ты не смог стать похожим на своего деда, губанчик ты мой? – спрашиваю я иногда Тодороса в шутку. И, чтоб подразнить его, добавляю: – Всего-то и смог, что уподобиться своей бабушке-дурнушке!...» Кира-Экави говорила, будто бы главной и чуть ли не единственной причиной, по которой ее отец решил жениться на ее матери, оказалось то, что у той был широкий таз. «Видишь ли, считается, что женщины с широким тазом рожают много детей...»

В этом он был похож на своего деда. И тот и другой хотели много детей – чтобы увеличить численность греческого народа, надо же, наконец, разобраться с турками и осуществить Великую Идею¹⁰, это с одной стороны, а с другой – чтобы насладиться возможностью дать своим детям имена великих древних. Таким образом, думали они, им удастся перекинуть мост над пропастью, зияющей в пространстве между древней и современной Грецией. По их мнению, вся разница между нами – в именах. В конце-то концов. Но надежды ее отца не оправдались. Чрево кира-Пиги было постоянно раздутым, но она с трудом сохраняла детей, подобно некоторым деревьям, что приносят много плодов, но все гнилые. Или она их выкидывала, или они умирали при родах. Да и те, что выжили, все как один – кроме Афродиты – кончили хуже некуда. Ликургоса задавила повозка. Лошадь понесла и сбросила его прямо под колеса. Фемистоклис наступил на ржавый гвоздь и умер от столбняка. Йемена покончила с собой. Ахиллеас умер от туберкулеза.

Ахиллеас был любимцем. Мать любила его, потому что он был самым слабеньким, отец – потому что изо всех детей только Ахиллеас был хорош в учебе, а он горел желанием хотя бы одного сына выучить на археолога. Если верить кире-Экави, Ахиллеас был лунатиком. Но не таким, как все остальные. «Он не поднимался, Нина, по ночам на крышу. Только садился, откидывался на подушки и в крошечной темноте читал вслух свои уроки, решал задачки по математике, поднимался утром и находил их решенными!» («Почему бы и тебе не стать лунатиком, ленивое ты животное, – говорила я своей дочери, – чтобы мне не выбрасывать столько денег попусту на репетиторов!») «Так вот, значит, притаскивал отец домой разбитые статуи и горшки и складывал их у нас на веранде. Мама ворчала: “Ты мне уже весь дом завалил своим мусором!” – вот что она ему говорила. А он – Господи, помилуй его душу – только смеялся: “Ах, дорогая моя женушка, если бы все мужчины были как женщины, а все женщины стали бы похожи на тебя, мы бы до сих пор жили в пещерах. Вот вырастет Ахиллеас, станет он у

¹⁰ Великая идея – популярная в Греции во второй половине XIX – начале XX веков концепция, предполагавшая расширение границ Греции до пределов бывшей Византийской империи.

нас археологом, все их склеит и сделает их такими, какими они были раньше...» Ахиллеас не вырос. Мы потеряли его через два месяца – скоротечная чахотка. И моя мать, поклявшаяся, что если с Ахиллеасом что-нибудь случится, то и она не переживет его больше чем на сорок дней, свою клятву сдержала: через сорок дней не стало и ее!..» – «А с горшками-то что стало?» – «С какими горшками?» – «С горшками, ну, с теми, что твой отец приносил и складывал на веранде?» – «Ах, с горшками!.. Хм!.. По совести говоря, Нина, есть грех, я о них больше ни разу и не вспомнила. Да и кто знает! Наверное, их продала эта стерва Афродита. Видно, и они пошли прахом вместе со всем остальным имением...»

Каждый раз, когда она отдавала хозяину арендную плату, приходила к нам в крайне дурном настроении. «Опять пошла тысяча на ветер. Опомнись не успеешь, и вот опять, здрасте-пожалуйста, первое число. Пошло оно все к чертям. Устала я от такой жизни! Да неужто и в самом деле не заслужила я две собственных комнатки, чтобы не платить каждому негодяю аренду? Чтоб ей пусто было этой, стерве Афродите. Но ничего-ничего, так и знай, придет ее время, и она за все заплатит, и заплатит тем, что ей всего дороже, ей ее шлюшка Эванфия еще покажет... У моего отца – Господи, спаси и помилуй его душу – было не знаю уж и сколько гектаров земли в Амбелокипи. Ты, конечно, и сама помнишь (ну, вот вам и пожалуйста, мой точный возраст во всей его красе), что в то время Амбелокипи был не то что немодным районом, а так себе, пустырь на пустыре, и тамошнюю землю государство продавало за сущие гроши. Мой отец был очень умным человеком. Он предвидел, что рано или поздно, но Афины начнут расти вширь и земля поднимется в цене. Поэтому каждый раз, как у него заводились лишние деньги, он прикупал по одному-два стрема¹¹. Но когда умер Ахилл, а вслед за ним и мама, и вся наша жизнь полетела в тартарары, Афродита прибрала отца к рукам – я тогда была уже замужем и жила в Салониках, – и добилась она, стерва разэтакая, того, что он переписал все на ее имя. В один прекрасный день она посадила его в коляску, отвезла к нотариусу и он подписал дарственную на нее. Мы тогда, я и Мильтиад, решили подать иск, чтобы опротестовать дарственную и поделить все на три части, но в последний момент Мильтиад сделал ноги. Не иначе как Афродита бросила ему кусок, по-другому и не объяснишь. Что до нас с мужем, то мы в то время просто купались в деньгах. Кто бы мог подумать, что скоро, очень скоро мы со всем своим благоденствием пролетим, а цены на эти дурацкие пустыри будут расти как на дрожжах. Это уже потом случилось, после Малоазиатской катастрофы¹², когда на нас гигантской волной обрушились беженцы, а Венизелос объявил экспроприацию, чтобы построить им бараки. А теперь и Метаксас строит для них дома, ух, турецкое семя, пришли без штанов да нас без штанов оставили, все самое лучшее себе понахватали! И сгнули тогда все имения, и ничегошеньки нам не вернули! Афродита клянется и Богом, и дьяволом, что ей не компенсировали убытки. Но вот хоть режьте меня, я ей не верю. Поверь мне, она не только получила компенсацию, но еще и подсуетилась и продала всю землю до экспроприации!..» И так она ворчала и ворчала, ворчала и ворчала.

Ее отношения с братом Мильтиадисом, несмотря на то что они вместе жили, трудно было назвать сердечными. Мильтиадис был кадровым военным, но Метаксас отправил его в отставку. Он воевал в Сарандопоро, в Бизани, в Сангарио, далее по списку. Большинство своих званий и наград получил за доблесть и мужество. Так что он был – ни больше ни меньше – семейным героем. У нее на комодке стояли два снаряда, которые он привез ей на долгую память с Балканских войн¹³. Но в те времена, когда мы с ней познакомились, эти снаряды из свидетельств святых подвигов рода перешли в разряд памятников детским шалостям Тодороса!

¹¹ 1000 м².

¹² События осени 1922 года, когда после окончания Греко-турецкой войны из Турции были депортированы около полутора миллионов греков, проживавших в Малой Азии. Греки в свою очередь выслали турецкое население Греции.

¹³ Две войны – 1912–1913 и 1913 годов. В первой Греция, Болгария и Сербия воевали против Турции, во второй – Греция и Сербия против Болгарии.

Когда он плохо себя вел, кира-Экави запирала его в той комнате, где стоял комод со снарядами. Однажды она заперла его и забыла о нем напрочь. Ему приспичило сделать пи-пи, и когда он, покричав, понял, что его никто спасать не собирается, то взял да и написал прямехонько в снаряды. Теперь, когда он стал таким представительным и обстоятельным взрослым господином, мне никак не удастся представить его ребенком, да еще и таким озорным. Некоторых людей просто невозможно представить детьми, так же, как видишь каких-то детей и сразу понимаешь, какими они будут, когда вырастут.

Мильтиадис был сторонником Венизелоса. Даже уже и в пору нашего знакомства всякий раз, как разговор устремлялся к политическим пристрастиям брата Мильтиадиса, кира-Экави инстинктивно понижала голос. Не потому, что ему или ей все еще грозила какая-то опасность. Кого в конце тридцатых – в тридцать седьмом, тридцать восьмом – волновало, нравится тебе Венизелос или нет? Скорее она делала это по привычке. Было, видишь ли, время, когда поддерживать Венизелоса было примерно так же опасно, как сегодня быть коммунистом. Вот тогда это точно было не баран чихнул. Однажды папа из-за Венизелоса чуть было не потерял место в университете, как раз тогда, когда Константин только вернулся из ссылки¹⁴. Папа тоже голосовал за Венизелоса. Пусть он и не был таким фанатиком, как многие другие, – его в принципе не увлекала политика, но все-таки голосовал за Венизелоса, потому что тот в отличие от прочих бросал пару косточек и беднякам. Хотя в глубине души он был не из тех, кому так уж интересны были чьи-либо предвыборные программы. «Пустомели, – говорил он. – Греция прекрасно бы обошлась и без тех, и без других. Единственное, что в жизни имеет значение, так это быть хорошим человеком, а добиться этого ты можешь только сам. Кто бы там сейчас ни правил, какой бы строй ни устанавливал, есть вещи, которые никогда не изменятся: всегда будут люди и нелюди...» Так вот, когда Кондилис¹⁵ организовал референдум и вернул Георгия на трон, Мильтиадиса выгнали из армии как смутьяна и бунтовщика. В это же самое время кира-Экави вернулась в Афины. Она обнаружила брата погруженным в глубочайшую ипохондрию и без копейки денег – пенсии, которую ему платили, не хватало, как говорится, даже на сигареты, – а потому кира-Экави предложила переехать к ней и жить всем вместе, хотя бы чтобы не платить за жилье. Но, как водится, сначала пошли взаимные упреки, а там и до скандалов рукой подать. Она все просила его взять себя в руки и найти работу, как это уже сделали все его однополчане, но Мильтиадис ее не слушал. Он твердо верил, что вскоре положение дел переменится и его снова возьмут в армию. А до той поры он болтался по кофейням, играл в нарды и шепотом поносил и 4 августа¹⁶, и Метаксаса. Каждый раз, проходя по коридору мимо фотографии Метаксаса, демонстративно плевал на пол. Вот и еще одна причина для грызни. Не потому, что ей так уж дорог был Метаксас, нет, тут было кое-что другое. По-своему в этих вопросах она придерживалась примерно той же позиции, что и мой папа. Да только Тодорос был яростным защитником существующего порядка, и она боялась, как бы однажды он не застал любимого дядюшку на месте преступления и не подрались бы дядя и племянник, и что в таком случае делать кира-Экави?

Но и лень, и ипохондрию, и скверные манеры – все это она ему прощала. Одного только так и не смогла ему простить, что, собственно, и стало причиной их последней битвы: главным преступлением Мильтиадиса была его мания лезть в воспитание Акиса. Кира-Экави не

¹⁴ Константин I (1868–1923) – король Греции из династии Глюксбургов. В 1917 году, после прихода к власти Э. Венизелоса, отправился в изгнание, вернулся в 1920 году. После поражения в Греко-турецкой войне (1919–1922) отрекся от престола.

¹⁵ Георг II (1890–1947) – король Греции из династии Глюксбургов. В 1922-м был провозглашен королем, в декабре 1923-го свергнут республиканцами и отправлен в изгнание. В 1935 году в результате военного переворота к власти пришел генерал Георгиос Кондилис (1879–1936), объявивший себя регентом. Он организовал народный плебисцит, по итогам которого в Греции была восстановлена монархия.

¹⁶ 4 августа 1936 года военный министр Греческой республики Иоаннис Метаксас под предлогом угрозы заговора совершил военный переворот, распустил все партии и установил диктатуру.

позволяла внуку носиться по улицам и играть с соседскими мальчишками. Она либо сажала его за вышивание, либо шила ему кукол, а он безропотно в них играл!.. Мильтиадис смотрел на эти дела и грохотал от ярости, все его национальное самосознание восставало против этого. Греческая молодежь, у которой не должно быть никаких других занятий, кроме войны и оружия, играет в куклы. Греки играют в куклы!.. Стоило ли удивляться, что в один прекрасный день он взял да и выбросил все кукольное семейство в мусорное ведро. Что породило чудовищный скандал, вполне достойный таланта Гомера. Кира-Экави пришла ко мне и, клокоча от возмущения, изложила историю событий.

Если судить по фотографии (теперь она висит у нас в гостиной), муж кира-Экави был очень красивым мужчиной и, как и мой дорогой папа, большим щеголем: жесткий воротник, посеребренный галстук, бриллиантовые булавки, он явно не упускал ни одной детали. Как-то, когда мы только-только познакомились, я пришла к ней в гости, и мы рассматривали, как сейчас помню, фотографии, висевшие у нее по стенам. «Красавчик», – говорю я ей. «Хм, таким он был, когда пришел к отцу просить моей руки. Большого модника, чем он, во всем свете не сыскать было. Всегда он одевался лучше, чем мог себе позволить. “Пусть говорит кто хочет, – бывало, смеялся он, – что встречают не по одежке. Где-нибудь, уж и не знаю где, это так, но здесь, в Греции, тебя принимают за того, кем ты выглядишь”. Так вот, вместо того чтобы учиться в университете, куда его отправил старый Лонгос, он напечатал визитные карточки со словом “адвокат” под своей фамилией и убивал время, болтаясь по самым разным местам и флиртуя со всеми хорошенькими и не очень девицами. Дом моего отца стоял в самом верху улицы Айион-Асоматон. Вот будем как-нибудь в тех краях, и я тебе непременно его покажу. На фасадную сторону у нас выходила веранда с двумя кариатидами. Иной раз сейчас я прохожу мимо нашего дома, смотрю на тех кариатид, и слезы наворачиваются. Сколько полуденных часов провела я на той веранде! Полью цветочные горшки, а потом сижу себе в кресле и вышиваю. Яннис жил чуть ниже по той же улице и каждый раз, проходя мимо, бросал мне какой-нибудь комплимент – все эти глупости, которые молодые люди говорят девицам, когда хотят их завоевать. Но я была застенчивой и стыдливой. И в ответ на его комплименты только краснела до ушей и убегала в дом. Им овладело упрямство. Послушай-ка, а эта здесь совсем не такая, как другие. Как-то раз он пришел и попросил меня у моего отца. Но даже и когда мы были помолвлены, я продолжала его стесняться. “Мама, – говорю я однажды своей матери, – не заставляй меня мыть посуду, когда приходит господин Лонгос”. – “И почему же мне не заставлять тебя мыть посуду, когда приходит господин Лонгос?” – “Потому что я закатываю рукава, и он видит у меня родинку на руке и смеется”. – “Ах, глупенькая ты моя девочка, – говорит тогда моя мать, царствие ей небесное. – Если бы ты только знала, бедняжка, что тебя ждет, когда ты замуж выйдешь!” Такой вот я невинной была, дорогая Нина. И сейчас я иногда сижу и думаю, как жизнь меняет человека, что он из такого вот невинного агнца превращается в чудовище, которым я стала теперь». – «Ну ладно тебе, ладно, – отвечала я ей, – не такое уж ты и чудовище. Тебе больше нравится его изображать. А что изучал твой муж?» – «Юриспруденцию. Но ему не хватило терпения получить диплом. Он начал заниматься работой и разъезжать. Торговля. Вначале мы жили у моей матери. Позже наняли свой собственный дом, напротив Тисиона. Там я и родила всех моих детей, кроме Димитриса. Его я родила в Салониках». – «И зачем вы поехали в Салоники?» – «Потому что Яннису не нравились Афины. Он, видишь ли, был из Сьятисты. Не мог жить в атмосфере старой Греции. Я была, помню, беременна матерью Акиса, он приходит домой вечером, уже за полночь было, стоял январь, и холода были такие, что у тебя дыхание замерзло, так вот, он будит меня, и ни полслова, что да почему, говорит: “Приготовь мне чемодан с какой-нибудь одеждой. Сегодня вечером я отправляюсь с Павлосом Меласом в Македонию. Если эти недоноски болгары думают, что мы им по зубам, они жестоко обманулись!” В то время дела Турции стали совсем плохи, и греки ругались с болгарам, как наследники, наблюдающие агонию богатого дядюшки. “А меня ты

на кого оставляешь, Янни? – говорю я ему. – Что будет со мной и с нашими детьми? Что с ними станет, если, не приведи Господь, с тобой что-нибудь случится?” – “Не бойся, – отвечает он, – ничего со мной не случится. Не такой я дурак, чтобы меня подстрелили. Хочу просто приглядеться, что там и как в Салониках. В Афинах хлеба нет...” Обнял меня, поцеловал и уже был готов уйти. Но передумал. Пока держал меня в своих объятиях, одной рукой притушил свет лампы и... ну ты понимаешь, чего хотят мужчины... Таким он был. Может, за это я его и любила. Я уже точно знала, что он – мое божество. Потом он поцеловал Тодороса, который был тогда еще младенцем в люльке, и прямо посреди ночи, да еще в такой снегопад, встал и ушел... Спустя три месяца болгарский комитадзис¹⁷ засадил ему в руку штык. Выйдя из больницы, он вернулся в Афины. Пожил с нами месяц и вернулся в Салоники. Взялся за торговлю лесом. Взял подряд на вырубку монастырского леса. Подумывал о покупке собственного корабля, чтобы перевозить древесину. Зарабатывал деньги играючи. Но меня, Нина, меня эти деньги не заботили. Мне не нравилось, что мы живем порознь. Каждый раз, когда он приезжал в Афины, я просила его: “Возьми и нас с собой в Салоники, Янни, я больше не могу жить одна”. – “Бросай эти глупости, – говорит он мне в последний раз. – Забудь об этом. Положение тяжелое. Может начаться война”. И как знал. Не прошло и месяца, как началась Первая Балканская. День за днем я ждала, что он появится или напишет. Но ни слова от Янниса. Ему не нравилось писать письма. Прошло два месяца, прошло три, и я обезумела. Кончено, говорила я сама себе, кончено, потеряла я своего мужа. Или его убили, или какая-нибудь шлюха его от меня отвадила, а это то же самое, как если бы его убили, и что я теперь буду делать, разведенная, с четырьмя детьми? Тем временем я поняла, что снова беременна. Короче говоря, я решила ехать его искать. Если ты, мерзавец, думаешь, что я так и останусь Экави, которая стесняется закатать рукава, а ты будешь приезжать, делать мне по ребенку и уезжать, так ты жестоко заблуждаешься. Что-то ты слишком далеко зашел, дружок. Теперь ты узнаешь, какова на самом деле твоя Экави. Я тебе сейчас покажу и другую сторону монеты!.. Ноги в руки, и еду во дворец и прошу аудиенции у Софии¹⁸. В то время она еще была наследной принцессой. В указанный час она меня принимает. Целую ей руку и говорю: “Ваше высочество, так-то и так-то обстоят дела. Хочу, чтобы ты отправила меня к моему мужу”. – “Сиди на своем месте, добрая женщина, – отвечает она, – куда ты полезешь с тремя детьми в самое пекло?” Ну, ты понимаешь, что она не точно так говорила, она плохо знала греческий. “А если ты денег не имеет, – говорит она мне, – я тебе помочь буду”. – “Денег имеет, – отвечаю я, – сообщений никаких не имеет, а я прослышала, что туда можно добраться на госпитальном корабле. Но я ходила в Красный Крест, и мне сказали, что все зависит только от вас...” Через два дня я, счастливая и довольная, стояла возле Белой башни! Что тебе сказать, моя Нина, я и сама удивлялась своей смелости. И в самом деле, турок уже погнали, и они убрались восвояси, но напряжение было разлито в воздухе. Наши дельные союзнички болгары с трудом переносили, что им не удалось войти в город первыми. Ежедневно происходили какие-то стычки, ни один человек не осмеливался выйти из дома один поздно вечером. Каждое утро на улицах находили по двое-трое зарезанных и застреленных. Едва мы высадились с корабля, я оставила детей с семейством, с которым вместе добиралась от Афин, и отправилась искать адвокатскую контору Папатанасиу. Я знала, что в Салониках он – самый близкий друг моего. Насилу нашла, захожу – и что я вижу? Нате пожалуйста вам, этот господин, развалился в кожаном кресле, как лавочник! Едва он меня увидел, подскочил с кресла и зашелся от смеха. “Ну богатырь, – говорит он мне. – Приехала! Ха-ха-ха! Правду же я говорил, что ты приедешь! Ха-ха-ха!” Не мог из себя слова выдавить от хохота. “Христо, – говорит он Папатанасиу, – позволь тебе предста-

¹⁷ Комитадзис – член вооруженных болгарских объединений – комитатов, которые терроризировали население Северной Греции в первые два десятилетия XX века, когда Болгария претендовала на эти территории.

¹⁸ София (1870–1932) – королева Греции, жена Константина.

вить мою жену. То, что нужно для того, чтобы выбросить отсюда всех этих ивановых!..” И ни слова, Нина, ни одного вопроса, ни как ты столько времени обходилась, дорогая моя супруга, ни на что кормила детей. Таким он был. В конце концов за это время, кроме лесоторговли, он занялся военными поставками и отложил кое-какие деньги. Я мгновенно взяла его за жабры и заставила купить дом какого-то бея вместе со всей обстановкой. Турки бежали со всех ног и продавали все, что было, за кусок хлеба. В этом доме выросли мои дети. В роскоши. Там были такие вещи, которых я не видела не то что в доме моего отца, но даже во сне... Как ты понимаешь, наш район еще был полон турок. Богатые-то уехали, а бедным куда деваться. Для бедного человека, как говорит пословица, где земля – там и отечество. Но во время Малоазийской катастрофы при обмене населением уехали и они. Надо было видеть их рыдания. Они обнимали нас и целовали. Да, вот эта вот туречня, что столько веков держала нас в рабстве. Но, в конце концов, прожито и пережито. Да и уж говоря по самой правде, турки, которых я знала, были настоящими божьими людьми. Ни один нищий не проходил, чтобы ему не подали милостыню. А ханумы, доброго им здоровья, звали меня по вечерам выпить кофейку и разбрасывали на меня карты. От них и я научилась. И каждый раз мне выпадала десятка пик. “Любопытно, – говорила мне Найредин. Она сидела, скрестив ноги, и курила трубку. – Любопытно. Я не вижу рядом с тобой твоего мужа. Другая женщина ложится в его постель...” Но я смеялась. Мой эгоизм и самовлюбленность не знали границ. Я была абсолютно в себе уверена. И это было моей ошибкой. Все пропускала мимо ушей. Меня это не касается, говорила я. Пусть хоть сто женщин упадет в его кровать. Куда бы он ни пошел, все равно вернется ко мне и к своим детям. Я – царица его дома... И не обратила внимания даже тогда, когда святая Анастасия подняла тревогу, забив в колокола...»

«Как это святой Анастасии удалось поднять тревогу, да еще и бить в колокола?» – спросила ее я.

«Ты не смейся. Вот расскажу тебе всю историю, тогда увидишь как... Как-то раз мой супруг отправил нас на все лето в одну деревушку возле Вальты. Оттуда была родом его мать. Я взяла с собой всех детей, кроме Елены, она точь-в-точь как твоя дочь – завалила экзамены и должна была остаться в Салониках, чтобы ходить к репетиторам. И это ее ни капли не печалило! Она была счастлива, что останется в доме изображать хозяйку и хлопотать вокруг своего папочки. Меня она терпеть не могла, потому что я ее держала в ежовых рукавицах. А его она обожала. В то время еще не было автобусного сообщения. Часть дороги ты ехал на повозке – или на кораблике, но моя Поликсена не переносила моря, – а дальше надо было ехать на мулах. Повозку нам достал Яннис. Мы взяли одноколку. По пути нам встретила одинокая церквушка, прямо как в песне поется:

На горе высокой
Церковь одинокая...

“Что это за церковка такая?” – спросила я у возницы. “Святой Анастасии Узорешительницы”. – “А это что за чурбачок у нее там болтается?” – “Колокол”. И мне показалось это так смешно! Меня охватил истерический смех. “Ну вы даете, ну и колокол. – Я просто изнемогала от смеха. – Что, не нашлось ничего получше, так они деревянный чурбан повесили?” Я чуть не описалась от смеха!.. Мы еле-еле добрались до Вальты, где должны были пересест на мулов. Смеркалось. Дети выбились из сил, просидев столько часов в дребезжащей “дрынь-дрынь” коляске. Поедим, думала я, и немедленно уложу их спать. Как вдруг приходит проводник и говорит мне: “Собирайтесь. Отъезжаем!” – “Да вы не в себе! – говорю я ему. – Разве мы только что не договорились, что отправляемся завтра утром? Что вдруг случилось? И не подумаю даже пальцем пошевелить, не то что куда-то отправляться!” Но в то время в сельской местности еще свирепствовали разбойники. Проводники собирали большие караваны,

так было безопасней, другие путешественники решили выезжать немедленно, чтобы ехать по прохладе. Если бы мы остались, нам бы пришлось прождать два, а то и три дня, пока не собралась бы новая компания. Проклиная на чем свет стоит и путешествия, и проводников, я села на моего мула. Тодорос, который уже был большим мальчиком, тоже ехал сам. А двоих младших – Димитриса и Поликсену – мы посадили вместе. “Держитесь крепче, ребятки, – говорю я им. – Мулы – терпеливые животные, но уж если разгневаются, так сбросят вас под копыта за милую душу”. Несмотря на все уверения проводника, я отправлялась в путь с самыми тяжелыми предчувствиями. Я смотрела сквозь непроглядную завесу тьмы, слушала кваканье лягушек в болоте и вой диких зверей в лесной чаще, и волосы шевелились у меня на голове. Я раскаивалась, что не послушалась своей интуиции и не осталась в Вальте. Как-нибудь мироздание бы уцелело, если бы мы прибыли в деревню на два дня позже. Дом был уже снят и поджидал нас. А вот сейчас мы приедем за полночь, поднимем хозяев на ноги. Что они нам сделали, чтобы так им досажать, беднягам? Мало мне этих мыслей, так тут ко мне тянется Димитрис и говорит: “Мамочка, Ксени заболела!” Я кричу проводнику, он останавливает мулов, я спешиваюсь, беру ее за руку – да она просто горит! “Сколько нам еще осталось?” – спрашиваю я проводника. “Часа два”. Снова забираюсь на своего мула и беру ее к себе на руки. Одной рукой держусь за седло, другой прижимаю ее. “Потерпи, деточка, – говорю ей. – Не стони так и не надрывай мне сердце. Где бы мы ни были, скоро приедем...” Но пока мы добрались, она впала в беспмятство. Мы разбудили хозяйку, она показала нам комнаты, в одной я уложила спать мальчиков, в другой – Поликсену и тут же послала старшего сына хозяина за врачом. Не отходя от ее постели, я ставила ей один укушенный компресс за другим, но жар и не думал отступать. Она стонала, дрожала как лист, дыхание ее прерывалось. Мне казалось, еще мгновение – и душа ее отойдет. “Ну что же врач?” – спросила я у хозяйки. “Сейчас будет! – сказала она. – Сейчас будет!” Но вместо врача пришел мальчик и говорит: “Врача нет сейчас в деревне, он вернется только завтра вечером”. – “Сейчас! – закричала я и в отчаянии стиснула руки. – Сейчас! Что же будет с моим ребенком?” – “Не беспокойся ты так, душечка! – говорит мне хозяйка. – Ничего с ней такого и нет. Устала просто с дороги, это пройдет”. Ф-ф! Пройдет! – подумала я. Деревенщина! Что они понимают в болезнях? Для них что люди, что коровы – все едино. “Как же мне не беспокоиться так, душа моя, – говорю я ей, – как же мне не беспокоиться, когда ее трясет лихорадка и я могу потерять мою девочку в эту же ночь?” И отправила ее спать. Что за отчаяние охватило меня в тот вечер, не дай более матери узнать такое. Я сидела возле ее постели и разговаривала с ней, как безумная. “Ну что с тобой, доченька моя? – говорила я. – Кто же тебя сглазил, что ты умираешь?” Потом вскочила и заметалась по комнате, ровно как львица по клетке. Не понимала даже, который час. Керосин в лампе уже подходил к концу, огонек становился все глуше. Я размышляла: разбудить снова хозяйку или нет? Тогда-то я в первый раз и заметила лампадку, которая горела перед иконостасом. Вдруг я почувствовала, как ноги мои подкашиваются. Упала на пол, зарыдала и говорю – и как только вспомнила, я тебя спрашиваю, эту церквушку? – так вот я и говорю: святая моя Анастасия Узорешительница! Прости меня за то, что посмеялась над твоим колоколом. Вылечи мою Ксени, а я поставлю тебе свечку с нее ростом!.. И она меня услышала. Великая тебе слава, святая моя Анастасия! Раз – и прошиб Поликсену пот! Простыни хоть выжимай. И только-только она еще лежала как мертвая, и вот я вижу – зашевелилась. Открывает глаза и говорит: “Мама... воды...” Я чуть было там же и не упала. И вместо того чтобы дать ей воды, снова падаю на колени и возношу хвалу Богу... Но если я тебе и рассказываю все это, то только для того, чтобы объяснить, что святая Анастасия, которая спасла мою Ксени от верной смерти, еще предупредила и меня, что я вскоре останусь без мужа. Когда мы вернулись в Салоники, я пошла и купила икону во благодарение ей. Оставила ее на сорок дней в храме Сретенья и, когда забрала оттуда, отдала одному монаху – он частенько проходил мимо нашего дома, продавая свечки и ладан, – чтобы тот отослал ее в Катунакья, где бы на нее надели серебряный оклад. “А снизу, – говорю, – скажи им, чтобы

выгравировали: Посвящение Экави Лонгу”. Но когда он мне принес ее обратно, я увидела, что “Лонгу” вырезать забыли. “Ну и где же моя фамилия?” – спрашиваю его. Смотрит раз, другой, начинает креститься: “Господи, властитель наших душ и сердец...” – “Оставь Господа там, где он находится, – говорю я ему, – он-то здесь при чем?” В общем, не буду разводить тебе тут долгих историй, поклялся он мне, что, когда ему отдали икону обратно, “Лонгу” было на своем месте и он видел это своими глазами. Должно быть, мою фамилию стерла святая Анастасия, потому что хотела дать мне знак и так далее и тому подобное».

«И ты ему поверила, кира-Экави?»

«Конечно, нет! Я была Фомой неверующим, как и ты. Забыл про фамилию, думала я, вот и наговаривает теперь на святую. Все они, проныры, блаженными прикидываются. Но когда спустя недолгое время осталась я без мужа, вспомнила об этом случае и горько заплакала, прямо как святой Петр, когда петух прокричал трижды. Потому с тех пор я и не отваживаюсь на свое мнение. Самая лучшая политика, Нина, верь и не пытайся познать. Я тебе говорю, ты права, если поносишь святую и называешь ее мошенницей. А как, если нет? Ты можешь мне фыркнуть в ответ: пф! это совпадение. Но мне оно кажется чистейшей воды чудом. Как если бы она сама мне сказала: “Ты думаешь, есть ты и никого другого в целом свете. Что ж, дело твое – твоя ответственность. Тебе кажется, что ты неуязвима. Знала бы ты, бедняжка, что тебя ожидает! Совсем скоро станешь ты просто Экави”. И я бросилась в подушки и горько заплакала. “Святая моя Анастасия, – говорю я ей, – что же ты предсказала мою катастрофу, да не смогла ее отворотить?” Но чем тебе поможет святая, чем тебе сам Всевышний поможет? Меня предупредили. Только в моих руках было открыть глаза и принять меры. Но я, надменная, осталась глуха...»

6

Много раз, когда мы сидели по вечерам своей компанией и речь заходила о неудавшихся браках и разводах, кира-Экави приходила в волнение и начинала вещать. Она выступала за взаимопонимание или, по крайней мере, за взаимное терпение у супругов. Она твердо верила в то, что кого Господь соединил, человеку не оторвати. «Промеж супругов, – говорила она, – и волоска не просунуть. И если я вам это говорю, то только потому, что и сама оказалась неудачницей...»

«Мужа у нее увела ее же собственная двоюродная сестра! – встряла я, чтобы побудить кира-Экави к рассказам. – Расскажи-ка нам об этом, кира-Экави, вот и время пройдет! А я, ты же знаешь, никогда не устаю тебя слушать».

«Ты, может, и не устаешь, а вот я сама от себя подустала. Бывают мгновения, когда слышу свой голос и кажется, вот-вот меня от этого вырвет... Эта паскуда увела его от меня. Приворожила. Как-то вечером мы втроем отправились в театр... Не смотрите, что я сейчас так опустила. В то время у меня был трехэтажный дом, две служанки и собственный выезд. Мой муж был коммерсантом. По всему салоникскому рынку его знали. Где бы ни услышали, что я – госпожа Лонгу, тут же десять земных поклонов мне клали. Мы вращались в наилучшем обществе. Как-то раз он даже выдвигал свою кандидатуру в депутаты парламента. Как и все мужчины, и он тоже был без ума от политики. Но тогда выборы выиграл Венизелос. А мой муж был роялистом до мозга костей и душу бы продал заради Константина. В то время начался раскол между Константином и Венизелосом. Наш дом превратился в политический клуб. Все самые известные роялисты собирались в нашей гостиной и держали совет за советом. А я им подавай на стол блюдо за блюдом без перерыва. Мы кормили деревенских, чтобы они за него проголосовали. В то время никто ни за что не голосовал, если ему не позолотить ручку. Я смотрела на это все и переживала. Своим маленьким женским умишком я понимала, что эта история добром не кончится. Мне тоже король был по душе, но я придерживалась мнения, что

не надо бы нам лезть в политику. “Да что с тобой, Янни? – спрашивала я его. – Бог уж с ним, с этим Константином, милый, и давай проголосуй за Венизелоса, чтобы не лишиться куска хлеба! И да ну его, это счастье, что мы при королях видали! Если, не приведи господи, в один прекрасный день ты потеряешь все свое состояние, что, Константин вернется, чтобы узнать, как у тебя дела?” Но у мужчин нет мозгов. Они как дети. Всем пожертвуют ради идеи. Он бросил свою работу и помчался в Халкидики, чтобы там произносить речи. Обещал крестьянам золотые горы да рай впридачу. И остался с носом. Есть у тебя состояние, говорит тебе Господь, люди тебя уважают, семья тебя обожает. А тебе все мало? Хочешь еще и депутатом стать? Так приготовься к тому, что я дам тебе хорошенького пинка под зад, чтобы ты пришел в чувство... Он пришел в отчаяние. Приготовился уж помереть от своих трагедий. Он-то думал, что теперь во всем непобедим, ан нет. Чтобы развеяться, подхватил меня, и мы на месяц уехали в Вену. Вот где бы вам оказаться со мной, посмотреть, как люди живут. Какие там дворцы, а театры, а кофейни! Все это было как во сне. Короче говоря, мы не бедствовали. И я подумала – ах, черт побери! чтоб мне пусто было! каждый раз, когда об этом вспоминаю, так и тянет по лбу себе дать, – так вот, я подумала: Экави, жизнь удалась. У тебя прекрасный муж. Ты должна помочь своим... Моя сестра Афродита замужем. Мой брат Мильтиадис – кадровый военный. Они во мне не нуждались. Во всей моей родне был только один человек, которому нужна была помощь, – двоюродная сестра, эта змея подколотная, о которой я вам сейчас и рассказываю. Ей уже шло к тридцати, а она до сих пор была не замужем, так как у нее не было приданого. Сделай доброе дело, Экави, сказала я самой себе, и Бог воздаст по плодам твоим твоим детям. Земля круглая, рано или поздно и к ним лицом повернется. Может, и ты однажды окажешься в такой же нужде, что и она. Итак, я пригласила ее пожить с нами какое-то время, чтоб побыла в приличном обществе, пробудилась от спячки. Подумала, что, может, и найдется какой-нибудь хороший жених среди друзей моего мужа. При надобности мы бы за ней и небольшое приданое дали. Я обсудила это с Яннисом, и он согласился. Но ей моей помощи в поисках мужа не надобно было. Она сама его нашла. И как это они спутались? Когда началась их связь? Не имею ни малейшего представления. Одно только знаю: если до того момента мы были самой любящей парой в мире, то тут вдруг начали ругаться по любому поводу. Он уже не был прежним Яннисом. Магия этой цирцеи его преобразила. В тот вечер, когда, как я вам говорила, мы возвращались из театра, я прошла чуть вперед и споткнулась о какой-то черный предмет. Мы вошли в дом, я взяла лампу с консоли, выхожу наружу и что я вижу! Черная, как смерть, курица и вся нафарширована нитками и иголками! Никто меня не убедит, что это не дело рук Фросо – Фросо ее звали. С того вечера все понеслось к чертям. Фросо приехала на два месяца. Осталась на шесть. Надо было, чтобы заболела ее мать, чтобы она, наконец, решилась уехать. Если только и это не было частью заранее составленного плана. С тех пор где Яннис? Нет Янниса – он все в Афинах. Да что же это такое делается? – спрашивала я сама себя. Может, он все-таки с кем-то связался и вправду выходит то, что мне нагадали мои турчанки? Но на Фросо я ни на секунду не подумала. Такая вот была наивная и доверчивая. За что и пострадала. В этой жизни никому нельзя доверять, даже собственному брату. Так все и шло, как вдруг – ну точно дьявольские козни! – я серьезно заболела. При обследовании врач нашел у меня миому в матке и сказал, что нужно делать операцию, причем немедленно. Я прекрасно могла бы сделать операцию и в Салониках. Но Яннис требовал, чтобы я отправилась в Афины. У него были свои планы. Он даже не дал мне попрощаться с моими подружками. Посадил в поезд, отвез в Афины и положил в больницу Благовещения. Когда медсестра вышла из палаты и оставила нас одних, он сказал: “Эви, – он меня называл Эви, – не кажется ли тебе, что мне стоит прихватить с собой Фросо, чтобы она следила за детьми, пока тебя нет?” – “Браво! – отвечаю я. – И в самом деле, что бы ее не взять? Я и сама должна была бы об этом подумать. И смотри, Янни, найди ей уже, наконец, хорошего парня, какого черта, у тебя же столько друзей. Может, она и не красавица, и раз уж мы об этом заговорили, сдается мне, что она несколько холодна с мужчинами, ты это

и сам мог заметить. Но и она не без достоинств. Позаботься, чтобы мы ее пристроили, и пусть даже она и не будет нам благодарна...” Пока я была в больнице, эта иуда, моя тетка, таскалась ко мне по три раза в неделю с визитами и даже имела наглость еще и цветы приносить. Когда в конце концов закончился курс химиотерапии и дело уже пошло на поправку, я написала ему, чтобы он приехал и забрал меня. Как только он получил мое письмо, бросился на экспресс и с вокзала поехал прямо в больницу. Стоило мне его увидеть, как что-то треснуло в моем сердце: крак! Это не тот Яннис, которого я знала, подумала я. Что-то с ним не так. “Что с тобой?” – “Да ничего. Устал от дороги. Все спальные места были заняты. Вот мне и пришлось просидеть ночь в кресле”. – “А, ну слава богу, – говорю я ему. – А то у меня были такие плохие предчувствия...” Он поднялся с кресла и подошел к окну. Притворился, что смотрит на улицу. Была зима. Февраль месяц, дул сильный ветер. Мой взгляд остановился на верхушке кипариса, он доходил до самого окна моей комнаты, и его шатало то туда, то сюда – вылитая марионетка в театре теней. Меня терзала непонятная и мне самой меланхолия, сердце в груди свинцом наливалось. Несмотря на все его уверения, я чувствовала: что-то не так... Но, разумеется, у меня не было никаких улик. Я уже готова была позвонить в колокольчик и вызвать сиделку, чтобы она помогла мне собрать чемодан, когда он повернулся и делано равнодушным тоном произнес: “Да, забыл тебе сказать. Я написал матери, что ты сделала операцию, и она ждет, что ты к ним приедешь дней на пятнадцать, пока окончательно не выздоровеешь и не наберешь потерянный вес”. Я не поверила своим ушам. “Что? Я, как в тюрьме, считала дни, когда уже, наконец, смогу вернуться к вам, а теперь ты хочешь, чтобы я отправилась в деревню? Что, лета больше не будет? Надо, чтобы я потащилась туда сейчас, в разгар зимы?” – “Я же не сказал, что ты должна поехать туда любой ценой”, – говорит мне он. Он знал, с чем ко мне подойти. И знал, что, если будет слишком сильно настаивать, я почувую, что дело нечисто. “Просто я думаю, – добавил он, – что это пойдет тебе на пользу. Поезжай, и я привезу тебе младших, чтобы и они повидались с дедушкой и бабушкой. Пусть даже они пропустят несколько занятий. Ты же знаешь, мать и так жалуется, что ты совсем у них не бываешь. Она думает, что ты ее терпеть не можешь”. – “Это совсем другой разговор, – говорю я. – Ты прекрасно знаешь, что она неправа. В прошлом году я тебя поездом ела, чтобы ты пустил нас поехать в Литохоро, но ты сам настоял, чтобы мы отправились в Вальту. Если бы мы поехали в Литохоро, может, и наша Ксени бы не заболела...” Но я чувствовала, что он не примет отказа. Я сглотнула слюну. “Сестра, – позвала я сиделку, – собери, пожалуйста, мой чемодан”. И внезапно меня охватило странное чувство, будто бы я встала на край бездны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.